



В. ЗАЗУБРИН

ДВА
МИРА



Красные и белые (Вече)

Владимир Зазубрин
Два мира (сборник)

«ВЕЧЕ»

1921, 1923, 2008

Зазубрин В. Я.

Два мира (сборник) / В. Я. Заzubрин — «ВЕЧЕ», 1921, 1923, 2008 — (Красные и белые (Вече))

Гражданская война – самая страшная и жестокая из всех, что придумало человечество. Рушатся все нравственные и этические устои, отцы убивают родных детей, а одни верующие сжигают других прямо в церквях. И каждый ищет свою правду. Роман «Два мира» (1921) – первое масштабное произведение о Гражданской войне, получившее огромную популярность и переиздававшееся при жизни автора более 10 раз! Беспощадная борьба двух мировоззрений вызвала к жизни одну из самых страшных репрессивных организаций в истории – ВЧК. Ее сотрудники, искренне убежденные в правоте своего дела, в величии нового, «пролетарского» мира, буквально утопили Россию в крови, борясь за ее светлое будущее. А потом и сами, ненужными «щепками», были выброшены на обочину истории. Повесть «Щепка» (1923), или «Повесть о ней и о ней», явилась первой правдивой и страшной в своей подлинности картиной «классовой революционной борьбы», показавшей ее изнанку. Автор этих выдающихся произведений, Владимир Яковлевич Зубцов (1895–1938), был расстрелян. Реабилитирован посмертно.

© Заzubрин В. Я., 1921, 1923, 2008

© ВЕЧЕ, 1921, 1923, 2008

Содержание

Два мира	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	19
Глава 4	23
Глава 5	26
Глава 6	29
Глава 7	33
Глава 8	35
Глава 9	38
Глава 10	43
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Владимир Зазубрин

Два мира. Щепка

Два мира

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 21-м году я видел эту книгу на столе В.И. Ленина.

– Очень страшная, жуткая книга; конечно, не роман, но хорошая, нужная книга.

Мне тоже кажется, что социальная полезность книги этой значительна и совершенно неоспорима. Написал ее человек весьма даровитый. Нужно отметить, что написал он ее поспешно, возбужденно, местами она – многословна, местами – материал ее скомкан, не обработан. Но это недостатки легко устранимые, и автор, конечно, устранил их.

Технические погрешности книги вполне покрываются гневом автора, гневом, с которым он рисует ужасы колчаковщины, циническую жестокость белых и интервентов. Книга эта заслуживает широкого распространения в крестьянской массе, которая в целом не имеет достаточно ясного представления о том, как гнусно, с какой ненавистью «защитники русского народа», руководившие Колчаком, истребляли этот народ, как бессмысленно они разрушали его хозяйство.

Не менее полезно и для молодежи познакомиться с этой книгой В.Я. Зазубрина – плохо знает молодежь вчерашний день.

Эта книга вся была прочитана в Сибири перед собраниями рабочих и крестьян. Суждения, собранные о ней, стенографически записаны и были опубликованы в журнале «Сибирские огни». Это весьма ценные суждения, это подлинный «глас народа». И было бы в высокой степени полезно напечатать эту стенограмму в конце книги как послесловие к ней, как эхо, мощно отозвавшееся на голос автора.

М. Горький
Москва, 1928 г.

Глава 1 КОГОТЬ

Земля вздрагивала.

Тела орудий, круто задрав кверху дула, коротко и быстро метали желтые, сверкающие снопы огня. Тайга с шумящим треском и грохотом широко разносила гул выстрелов, долго, визгливо и раскатисто звенела сильным воем снарядов, лопавшихся далеко на улицах, на земле и над крышами Широкого.

Прислуга на батарее, молодые, краснощекие, скуластые солдаты работали с буднично-спокойными лицами, изредка равнодушно ругались, перебрасываясь грубой шуткой. Противник был не страшен: он не имел артиллерии. Сидевший на наблюдательном пункте поручик Громов в бинокль, не отрываясь, следил за селом и часто кричал в трубку телефона короткие, холодные слова команды. Ветра не было. Сухой, горячий воздух висел над тайгой, напитываясь запахом душистой смолы, игольчатой зелени и пороховым дымом. На дереве сидеть было неудобно и жарко. Ноги у офицера затекли, руки устали держать тяжелый бинокль. Толстые губы с подстриженными черными усами засохли и потрескались. Фуражка надвинулась на самый лоб, из-под козырька текли теплые, липкие струйки пота, грязными каплями висли на сухом, горбатом носу, на гладко выбритом четырехугольном подбородке, капали на зеленый френч.

Мертвые, стеклянные глаза бинокля, поблескивая, сверлили зеленую даль большой таежной поляны, на которой скучилось Широкое, бегали по улицам села, щупали густую цепь противника, лежащую у поскотины.

– Прицел!.. Трубка!..

Толстые губы дергались, и по тонкому стальному нерву телефона бежали отрывистые фразы, слова, цифры, полные скрытого смысла.

– Прицел!.. Трубка!.. – повторял телефонист на батарее.

– Прицел!.. Трубка!.. – кричали бегающие у орудий солдаты в грязных гимнастерках, с расстегнутыми воротами и красными погонами на плечах.

– Готово!

– Первое!.. Второе!.. Третье!..

Орудия судорожно подпрыгивали, давясь, с болью, оглушающе харкали и плевались длинными кусками огня и раскаленными воющими сгустками стали. Верхушки деревьев гнулись, как от ветра.

– Прицел! Трубка! – кричала натянутая жила телефона.

Спокойно поблескивал черный бинокль. Послушно, с точностью заведенного механизма, солдаты щелкали замками, совали в орудия снаряды, стреляли.

На опушке тайги стоял сухой треск ломающегося валежника. Серо-зеленая цепь белых вела частую стрельбу из винтовок, четко стучала длинными очередями пулеметов. Партизаны, окопавшись у самой поскотины Широкого, молчали. Вооруженные более чем наполовину дробовиками, почти не имея патронов, они берегли каждую пулю, не стреляли, выжидая, пока противник подойдет ближе и можно будет бить его, беря на мушку, без промаха. Пули со свистом сочно впивались в жерди и колья поскотины, зарывались в черные бугорки окопов, тысячами визгливых сверл буравили воздух. Бойцы лежали сосредоточенно-спокойно. Глаза, потемнев, резко чернели на напряженных, чуть побледневших лицах. Когда в цепи пуля задевала кого-нибудь и слышался стон или крик, то все молча обертывались в сторону раненого и быстрыми тревожными взглядами следили, как возились с ним санитары.

Снаряды рвались далеко за цепью, в селе. Белые облачка шрапнели клубились над Широким, и тяжелый дождь крупными каплями картечи с треском низал дощатые крыши, дыря-

вил заборы, ворота, звенел осколками выбитых стекол. На улицах в прыгающих крутящихся столбах черной пыли огненными, красными лоскутами рвались гранаты. Ключья огня вспыхивали и тухли спереди и сзади десятка запоздалых подвод, спешивших к северному концу села. Поручик Громов не мог взять верного прицела. Крестьянские телеги, тяжело скрипя, медленно ползли между домов, трещавших от взрывов. На возах в беспорядке, наспех, высоко были навалены сундуки, самовары, цветные половики, подушки; на самом верху металась и громко плакали ребятишки, охали, крестились, всхлипывали женщины.

Гранаты давали или перелет, или недолет. Шрапнели рвались слишком высоко, и пули, ослабев, сыпались на обоз, никому не причиняя вреда. Круглый кусок горячего свинца упал на беленькую головку семилетнего Васи Жаркова. Мальчик вскрикнул, испуганные черные глаза, широко раскрывшись, остановились. На полные, розовые щечки брызгали искрящиеся капли слез.

– Мама, больно! Ай-ай! – Вася заплакал, схватился за голову.

Полная женщина в белом платке, с вытянувшимся землисто-серым лицом прижала к себе дрожащего сына.

– Матушка-Владычица, Богородица Пресвятая, спаси и помилуй нас, – навзрыд причитала мать.

Старики с трясущимися коленями широко шагали возле возов, дергались поминутно всем телом в сторону от рвущихся снарядов, подгоняли храпевших и бившихся лошадей.

Поручик Громов стал нервничать. Его бесило, что семьи партизан безнаказанно уходили из села. Офицер менял прицел, промахивался, раздраженно ерзал на сучке, ругался.

Граната с воем лопнула в самой середине обоза. Задние колеса телеги Жарковых прыгнули вверх. Мать и сын молча, не вскрикнув, свалились, обнявшись, на дорогу. Рядом тяжело рухнула большая туша лошади с оторванной головой. Пыль вокруг убитых сразу стала красной.

Черный бинокль радостно дернулся в руках Громова и, блеснув на солнце, остановился. Офицер с легким волнением весело уронил в трубку:

– Хорошо! Два патрона! Беглый огонь!

Бах-бах! Бах-бах! Бах-бах! Бах-бах! – быстро бросила батарея восемь снарядов. Разбитые телеги сгрудились в кучу; лошади, издыхая, дергали ногами; с вырванными животами, оторванными ногами и руками, с разбитыми черепами валялись люди. Кто-то стонал. Мертвые руки Жарковой сжимали маленькую головку Васи.

Батарея перенесла огонь. На улицах стало тихо. Дома молча смотрели черными слепыми дырами выбитых окон. Едва приметный легкий парок струился над убитыми. Крестьяне сидели с семьями в подпольях.

Снаряды стали рваться над поскотиной. Белая цепь, усиленно треща винтовками и пулеметами, поползла вперед. Партизаны молчали. Лохматая голова, с вьющимися черными волосами, в фуражке набок, поднялась над окопчиком.

– Товарищи, без моей команды не стрелять! – отчетливо и резко прозвенел голос Жаркова.

Изогнутый подбородок командира повернулся вправо и влево, глаза быстро и внимательно скользнули по цепи. Партизаны, слегка повертываясь набок, передавали приказание.

– Передача! Без команды не стрелять! Без команды не стрелять!

Пестрая цепь повозилась немного, стрелки осмотрели затворы у винтовок и берданок, курки у шомполок и централок и опять затаились.

Белые, не встречая сопротивления, продвигались быстро. Офицеры стояли в цепи во весь рост, громко командовали. Батарея перестала стрелять, боясь задеть своих. Не дойдя до противника шагов полтора, белые поднялись, бросились в атаку.

– Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а! – громче всех ревел высокий худой командир батальона и, поднимая в руке большой черный кольт, бежал впереди цепи. Жарков встал, метнул быстрый взгляд на клочок луга, отделявший партизан от белых, коротко бросил:

– С колена! Крой!

Зеленые гимнастерки, черные, синие, белые рубахи, серые деревенские самотканые кафтаны, шляпы, фуражки, шапки поднялись с земли. Четко щелкнули затворы, мягко хрустнули курки.

Тр-р-р-а-а-а-х! Ба-ба-баах! Рррах! – разноголосно и гулко хлестнул залп.

Длинноногий командир батальона уронил кольт, согнулся дугой, упал лицом в траву и завизжал. Целый заряд ржавых гвоздей и толченого чугуна угодил ему в живот. В белой цепи зазияли огромные дыры. Неподвижная, твердая как камень, темная линия красных ударила снова из сотен ружей. Едкий, рвущий визг свинца и железа стегнул еще раз атакующих. Редкие, расстроенные кучки белых повернули назад, побежали к тайге.

– Ложись, – удержал Жарков свою цепь, порывавшуюся преследовать отступавших.

Белые снова пустили артиллерию, под ее прикрытием стали спешно подтягивать резервы.

Красные лежали спокойно, отдыхая от напряженных минут атаки. Белые оправились и привели в порядок свои части только к вечеру, но боя не завязывали. Командир карательного отряда полковник Орлов решил наступать на Широкое ночью. Как только стемнело, Жарков, сняв с позиции своих стрелков, повел их в село. На улицах было безлюдно и тихо. Раненых подобрали. Только темная куча убитых лежала на месте. Около пахло горелыми тряпками, порохом и кровью. Жарков еще в цепи узнал о смерти жены и ребенка. Теперь, торопясь, обходил, не останавливаясь, разбитый обоз. Минуты были дороги. Белые могли окружить. Беззвучно ступая в мягких броднях, опустив головы, молча оставляли партизаны Широкое.

Около двенадцати часов ночи белые сразу открыли по всей линии пулеметный и ружейный огонь. Ответа не было. Наученные днем, красильниковцы двигались вперед медленно, осторожно. В атаку поднялись и пошли нерешительно, шагом, часто стреляя на ходу. Огненная петля с двух сторон охватила молчаливое село.

Крикнули «ура» и побежали уже у самой поскотины. Шумно топая, паля из винтовок, с ревом ворвались в тихие улицы. Задыхаясь, натолкнулись на остаток обоза, спугнули мертвый покой убитых, кучей затоптались на месте. Луна осветила два ряда домов с темными дырами окон. Толстый полупьяный поручик Нагибин брезгливо морщился и, широко растопырив ноги, разглядывал убитых. Заметил жену и сына Жаркова.

– Со щенятами, значит. Правильно, поручик Громов. О-до-бря-ю!

Офицер повернулся к толпившимся сзади солдатам.

– Стана-а-вись!

– Становись! Стройся! Третий эскадрон! Первая рота! – кричали по селу офицеры.

Нагибин стал выстраивать свою роту. Отряд собирался в одно место.

Полковник Орлов с эскадронам гусар в конном строю и батареей въехал в Широкое. На главной улице стояли темные шеренги солдат. Лиц в тени нельзя было разобрать. Концы штыков маленькими звездочками поблескивали на луне, искрящейся цепочкой связывали темные колонны отряда.

Капитан Глыбин поскакал навстречу Орлову, прижимая руку к козырьку.

– Смирна-а! Гаспада офицеры!

Орлов круто осадил свою белую кобылу, тонкие ноги ее дрогнули, жирный круп подался назад.

– Здорово, молодцы!

– Здравяй-желай, гсдин полковник!

– Поздравляю вас с победой! Спасибо за службу!

– Рады стараться, гсдин полковник!

Дружный ответ красильниковцев прокатился по селу. В дальнем конце улицы эхо дважды повторило: «Рады! Рады!» – и все затихло.

Белые блестящие погоны полковника и кривая казачья шашка, вся в серебре, отливали голубоватым светом. Высокая кобыла беспокойно перебирала тонкими ногами, фыркала нежными розовыми ноздрями, поводила ушами, косила глазами на кучу убитых. Орлов, слегка пригибаясь к луке, щекотал шпорой бок лошади, заставляя ее подойти ближе, наступить на труп.

– Дура, испугалась. Вот так боевой конь, – улыбаясь, обертывался полковник к адъютанту.

Темное облако закрыло луну. Блестящая цепочка штыков, погоны полковника и его шашка потухли. Черная лопата бороды Орлова поднялась кверху. Офицер несколько секунд смотрел на небо.

– До рассвета еще часа два... – вслух подумал он и, нагнувшись с седла к солдатам, крикнул:

– Господа, до утра село в вашем распоряжении. К восходу солнца чтобы здесь не осталось ни одного большевика!

Темные колонны зашевелились, колыхаясь, стали пропадать в темноте.

Орлов со штабом отряда расположился в доме священника. Толстая попадьа, с простоватым, широким лицом, гладко причесанная, в длинном сером платье, накрывала на стол. Денщик полковника из походного сундука вынимал бутылки с водкой и коньяком. Орлов, со скупающим лицом, позевывая, слушал своего помощника, капитана Глыбина. Глыбин говорил что-то о сторожевом охранении, о большевиках, об убитых и раненых солдатах. Полковник едва схватывал обрывки фраз, концы мыслей. Сегодня он весь день провел на жаре, в седле, основательно устал. Его взгляд, тяжелый, подернутый налетом безразличия, следил за пухлыми руками попадьи, ловко расставлявшей на чистой скатерти тарелки с солеными грибами, огурцами, с ворохами белоснежного хлеба, сдобных шанег, сметаной. Орлов взял большой, холодный, сочный груздь, помял его немного во рту и жадно проглотил. Налил чарку водки, выпил и опять потянулся к грибам.

– Пейте, капитан!

Глыбин оборвал деловой разговор, басом кашлянул в кулак, пододвинул к себе рюмку. Черное, давно небритое лицо капитана с жирными, трясущимися щеками расплылось в довольную улыбку. Глаза растянулись узкими щелочками. Жесткие усы оттопырились.

На улицах кучками бродили солдаты. Кованные железом приклады винтовок с треском стучали в дверь темных, молчаливых домов. Высокий рыжий фельдфебель из роты Нагибина со своим шурином, маленьким кривоногим унтер-офицером, и двумя солдатами ломился в ворота Николая Чубукова.

– Отпирай, сволочь! Перестреляю всех. Язвы вас в душу.

Ворота под напором четырех мужиков трещали, скрипели. Хозяин дома выскочил во двор.

– Погодите маленько, братцы, я мигом открою. – Голос Чубукова от страха дрожал и обрывался.

– Какие мы тебе, большевику, собаке, братцы? – орал фельдфебель.

– А я знаю рази, кто ж вы? – оправдывался хозяин, распахивая ворота.

– Вот знай теперь, кто мы!

Круглый, тяжелый кулак унтер-офицера стукнул в подбородок старика. Чубуков щелкнул зубами и замолчал. Фельдфебель, широко открывая дверь, первый вломился в избу.

– Большевики есть? – стукнула о пол винтовка.

Посуда зазвенела на полке. Проснулся и заплакал ребенок. Молодая женщина, бледная, затрясла люльку, хотела запеть, но голос у нее осекся, язык тяжело завяз во рту. Старуха, жена Чубукова, вышла из-за печки.

– Господь с вами, ребяташки, какие у нас большевики?

– А это кто? Чья жена? Партизанка?

– Что вы, господа, какая там партизанка. Дочь она моя, а зять здесь же, дома, никакой он не партизан, не большевик, – робко говорил сзади Чубуков.

Мужик с черной бородой, в потертой гимнастерке без погон слез с полатей.

– Я, господа, не большевик, я солдат-фронтвик, георгиевский кавалер, эфлейтур.

– Ага! Ну а жена-то у тебя все-таки большевичка!

Фельдфебель засмеялся, оскалив ряд кривых черных зубов. Зять Чубукова попробовал было ухмыльнуться, но у него только скривились губы, лицо побледнело, на глазах навернулись слезы. Фельдфебель шагнул к женщине, оторвал ее руку от люльки и потянул к себе. Женщина взвизгнула, заплакала, стала вырываться.

– Не дело задумали, господин, – загородил дорогу чернобородый.

– Дело не дело, не твое дело, – крикнул унтер и больно ткнул в лицо ефрейтору дулом нагана.

Фельдфебель тащил рыдавшую женщину в сени. Ребенок звонко плакал.

– Господи, что же это такое? Матушка Пресвятая-Заступница...

Старушка упала на колени, с отчаянием стала креститься на передний угол, кланяться низко до полу. Чубуков тяжело сел на постель. В сенях на полу слышался глухой шум возни.

– Вася, помоги! Ой, не могу я! Вася, не дай опозорить!

Фельдфебель злобно ругался и затыкал разорванной кофтой рот женщины. Чернобородый метнулся к выходу. Унтер-офицер развернулся и сильно стукнул его револьвером по щеке. Мужик со стоном упал на пол. Дуло нагана воткнулось ему в рот.

– Только пошевелись, сокрушу!

– Толкачев, иди-ка поддержи ее: не дается, сука, – позвал рыжий из сеней.

Молодой солдат с тупым, равнодушным лицом, громыхнув винтовкой, вышел за дверь. Чернобородый рычал и громко всхлипывал, катаясь по полу. Старуха молилась. Ребенок взвизгивал охрипшим голосом.

Несколько солдат ворвались в школу. Молоденькая учительница с белокурой головой и большими голубыми глазами встретила красильниковцев на пороге.

– Что вам нужно, господа?

Глаза девушки смотрели с недоумением и страхом. Восемнадцатилетний доброволец Костя Жестиков, быстро схватив учительницу за руки, громко поцеловал. Солдаты захохотали. Жестиков нагнулся немного и, быстрым движением разрывая юбку девушки, повалил ее на пол.

– Стой! Что здесь такое?

В школу забежал поручик Нагибин. Доброволец бросил учительницу, вскочил с пола. Поручик увидел на секунду белое нагое тело девушки, разорванное платье, огромные глаза.

– Вон отсюда! – Офицер затопал ногами.

Солдаты неохотно повернулись к двери, стали выходить. Учительница с трудом поднялась и, пошатываясь, пошла в другую комнату. Перед глазами офицера снова манящей белизной блеснуло нагое женское тело.

– Подождите, куда же вы?

Учительница ускорила шаги, почти побежала. Нагибин быстро догнал девушку и, не слыша ее отчаянного крика, схватил за талию. Теплота обнаженной кожи пахнула в лицо поручику. Гибкое тело забилось в крепких руках мужчины.

Солдаты в соседней комнате разломали прикладами и штыками сундучок с вещами учительницы. Костя Жестиков, топчя сапогами подушку в чистой наволочке и белое одеяло, сброшенное с постели, шарил руками под матрасом.

– Нет ли у нее оружия, у стервы, – ворчал доброволец.

Солдаты, разломав сундук, смеясь, выбрасывали на пол женское белье.

– Ишь, Нагибин-то наш, хорош гусь, нечего сказать. Нам не дал, а сам взялся, брат.

– Ни черта, ребята, останется и нам, – утешал Костя, сбрасывая с этажерки книги.

По улице свистели пули, хлопали выстрелы. Солдаты по малейшему подозрению стреляли в первого встречного. В домах плакали женщины, трещали разламываемые сундуки, скрипели засовы амбаров и кладовок.

Победители расправлялись.

К Орлову через каждые десять-пятнадцать минут приводили арестованных, заподозренных в большевизме. Полковник сильно охмелел. Разбираться ему долго не хотелось. После двух-трех вопросов он свирепо таращил глаза, рычал:

– Большевики мерзавцы! Отправить их в Москву.

Арестованных выводили на двор и, быстро раздевая, рубили шашками. С одной из последних партий привели женщин. Попадья, плакавшая в углу, подошла к Орлову:

– Господин полковник, это не большевички, я знаю.

– Молчать! Я лучше знаю, кто они. Мои молодцы зря не арестуют. Может быть, ты сама большевичка? А? Я почему знаю?

Попадья испуганно попятилась и вышла в другую комнату. Полковник посмотрел на плачущих женщин, махнул рукой:

– В Москву!

На дворе, пока их зарубили, они боролись, визжали, кусали гусарам руки. Полковник и Глыбин пили коньяк. Четырехугольники окон стали светлеть. Кончая последнюю бутылку, Орлов крикнул вестового:

– Шарафутдин, позови мне начальника комендантской команды.

Прапорщик Скрялев явился быстро и, вытянувшись, остановился в дверях. Произведен он был недавно, с новым положением своим еще не освоился, перед полковником трепетал больше, чем всякий рядовой.

– Скрялев, кажется, рассвет близко?

– Так точно, господин полковник, уже светает.

– Гм-м! Зажигайте село.

Полковник сказал это спокойно, как будто дело шло о кучке старого хлама, а не о богатом Широком, о том самом Широком, в котором были две начальные школы, одна высшая начальная, библиотека в десять тысяч томов, народный дом и лесопилка. Попадья упала в ноги офицеру:

– Господин полковник, не разоряйте нас, не губите.

Щеки попадья тряслись, она ловила грязные сапоги Орлова и целовала их. Лампадка перед иконой Христа потухла и зачадилась. Полковник встал. В комнате было почти совсем светло.

– Шарафутдин, коня!

Капитан Глыбин, адъютант, корнет Полозов и еще несколько офицеров, пивших с полковником, звеня шпорами, пошли к выходу. Садясь на лошадь, Орлов приказал адъютанту:

– Корнет, передайте Скрялеву, чтобы тушить не давал. Всех, кто будет мешать поджогу или спасать свое имущество, расстреливать на месте.

Учительница очнулась. Лежала она на полу совершенно голая. Рядом валялись лохмотья ее разорванного платья, окурки. Пол был истоптан десятками ног и заплыван. Небольшой квадратный листок бумаги с портретом какого-то офицера привлек ее внимание. Девушка припод-

нялась на локте и, не отдавая себе отчета, не приходя вполне в сознание, стала читать текст, помещенный под литографией.

К населению России

18 ноября 1918 года Временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу русского флота – Александру Колчаку...

Тело учительницы было все в синяках, кровоподтеках. Грудь ломило. Голова еле держалась, мозг работал слабо. Девушка, не отрываясь, быстро читала, не понимая содержания прочитанного.

...Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройстве государственной жизни, – объявляю:

Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избирать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам.

Верховный правитель адмирал Колчак. 18 ноября 1918 г. Омск.

Подпись под манифестом была слитографирована с оригинала. Девушка задрожала, увидев хищный росчерк начальной буквы фамилии диктатора. Верхний крючок острым концом загибался над всей строчкой, и на конце его брызги чернил были похожи на почерневшие, засохшие капельки крови. Черный коготь стал расти, краснеть, кровь потекла с него ручейками. С листка бумаги он забрался в голову девушки, раздражающей, острой болью наполнил оскорбленное тело. Учительница захохотала, вскочила на ноги. Коготь проколол ей череп, проткнул потолок, крышу школы, остроконечной дугой седого дыма загнулся над селом. Школа начинала загораться. Девушка ничего не видела. Острый кровавый коготь проколол ее насквозь, едкой болью рвал грудь, живот и голову. Комната стала наполняться дымом. Учительница с хохотом и воем бегала из угла в угол, сбрасывала с полок библиотеки книги, махала руками. Коготь выколол ей глаза. Слепая, она упала на груды книг, корчась от жара, хватала и рвала толстые тома Толстого. Село было все в огне. Огромный столб черного дыма ветер гнул в сторону, и он похож был на хищный коготь – росчерк начальной буквы страшной фамилии.

Глава 2

МЫ – ОФИЦЕРЫ

В притоне китайской, японской, еврейской и русской спекуляции, в городе, где диктатор Сибири изготовлял свои деньги, где цвели два питомника и рассадника контрреволюции – два военных училища, – сегодня было особенно весело. Сегодня колчаковцы ликовали. Сегодня состоялся выпуск из обоих военных училищ. Более полутысячи юнкеров было произведено в офицеры. Большинство произведенных были старые юнкера, сбежавшиеся к гостеприимному и хлебосольному адмиралу со всех концов России. Тут были гордые павлоны, «тонные», спесивые тверцы и елисаветградцы, «шморгонцы» – владимирцы, лихие рубаки – юнкера тарской сотни и сподвижники атамана Семенова. Были среди выпущенных и не военные: «шпаки», «шляпы», «полтинники», «гробы», как называли их кадеты, считавшие себя военными с пеленок. «Шпаки» были большей частью из студентов-белоподкладочников. Почти все они – военные по призванию, военные со дня рождения и военные случайные – одни открыто и смело, другие затаенно стремились к одним идеалам, верили в старых, несокрушимых китов черносотенного мирозерцания – в православие, самодержавие и русскую народность. Людей, настроенных оппозиционно к существовавшему в Сибири порядку, среди юнкеров почти не было.

Город ожил.

Улицы, кабачки, рестораны, кафе и бульвары на берегу Ангары в этот день пестрели группами нарядных офицеров. Синие, красные, черные, с лампасами, с кантами галифе и бриджи, английские френчи, тонкие шевровые сапожки на высоких каблучках, большие белые кокарды, лихо примятые фуражки, звон шпор, бряцание оружия, золото новеньких погон. Золото, блеск. Шутки, смех. Медовые месяцы контрреволюции.

Компания вновь произведенных расположилась в небольшом ресторане на бульваре. Миниатюрные рюмочки были полны тягучего, сладкого и крепкого бенедиктина. В чашках дымилось черное кофе. Настроение у всех было приподнятое. Безусый подпоручик Петин бил себя в грудь кулаком и тонким срывающимся голосом кричал:

– Я офицер! Я офицер! Ха-ха-ха!

Потягивая маленькими глотками кофе, пожилой студент Колпаков рассуждал:

– Да, подпоручик – это хорошо. Две звездочки. Не капитан с гвоздем, прапоришка несчастный. Подпоручик – настоящий офицер.

Все смеялись, громко разговаривали, стараясь перебить друг друга. Каждому хотелось высказаться, поделиться чувством какой-то особенной радости, так знакомой людям, только что выдержавшим долгий и трудный экзамен. Никто не отдавал себе отчета в том, что через несколько дней или недель все они могут очутиться на фронте, стать лицом к лицу со смертью. Фронт был далеко, о нем не думали. Все были пьяны сознанием своей самостоятельности и независимости.

Прежде чем стать офицерами, десять месяцев провели юнкера в стенах военного училища. Десять месяцев пробыли они в тисках страшной, железной дисциплины. Юнкер был тем козлом отпущения, на котором многие офицеры срывали свою злость, вознаграждали себя за все неприятности, какие им приходилось получать в солдатской среде. Солдаты держали себя довольно свободно, перед офицерами не дрожали и не тянулись так, как при старом режиме. Офицерам хотелось видеть армию во всем блеске прежней, царской палочной дисциплины, и что им не удавалось ввести в роты, в батальонах, то они с особым рвением насаждали в стенах военных училищ. Что невозможно требовать с солдата, то легко взыскать с юнкера. Юнкер должен быть образцом исполнительности, аккуратности, дисциплинированности. Юнкер – это идеальный солдат-автомат. Юнкер – это будущий офицер. Придирки и капризы офицеров,

«цуканье» начальства из юнкеров – все должен был вынести на своих плечах питомец военного училища.

Десять месяцев учебы, муштры и цука. Для многих они не прошли даром, многие совершенно обезличились, стали блестящими, шлифованными, послушными винтиками жестокого механизма армии.

Подпоручик Мотовилов хлопал по плечу Петина и смеялся раскатисто-громко, сверкая крепкими, здоровыми белыми зубами.

– Андрюшка, ты подумай только, мы – офицеры. Ха-ха-ха! Мы – офицеры. Раньше были разные господа фельдфебели, полковники Ивановы, перед которыми нужно было тянуться, а теперь – к черту всех! Сами с усами!

Петин обнял Мотовилова за талию.

Нам и дня не осталось
Производства ожидать.
С высоты аэроплана
На всех теперь нам начихать.

Оба смеялись, смеялись долго, до слез, как школьники. Вспомнили своего ротного командира полковника Иванова, прозванного Нудой за его нудный характер, за нудную, бестолковую муштровку, которой он изводил юнкеров, за его привычку всегда говорить: «Ну да, ну да, таким образом».

– Андрюшка, помнишь, как Нуда мою лошадь заставлял пешком ходить? Ха-ха-ха!

Петин улыбнулся.

– Что ты мелешь, Борис? Как это лошадь пешком?

– Не мелю, а факт, это было. Не помню, что-то сделал я на маневрах. Нуда решил наказать меня. Подлетает он ко мне и орет: «Ну да, ну да, Мотовилов, таким образом, вы пойдете пешком». Помнишь, он спешивал юнкеров в наказание. Я говорю: «А как же, мол, лошадь, господин полковник? Кому ее сдать?» А он, балда, подумал и говорит: «А-а-а, таким образом, вы пешком и лошадь ваша пешком».

Офицеры смеялись. Тягучими, хмельными струйками лился ликер и, смешиваясь с крепким горячим кофе, сильно туманил головы. В ресторане стало тесно и скучно.

– Господа офицеры, предлагаю сделать перебежку в направлении на «Летучую мышь», – поднялся Колпаков.

Загремели шашки, зазвенели шпоры, зашумели отодвигаемые стулья. Мелкими, ровными шажками подбежал лакей и, почтительно вытянувшись, остановился. Петин небрежно бросил на стол несколько тысячных билетов.

– Сдачи не нужно. Возьми себе!

Лакей отвесил глубокий поклон.

Смеркалось уже, когда шумная компания офицеров пришла в шантан. Окна зрительного зала были завешены плотными, темными шторами. Горело электричество. На сцене, кривляясь, визжала шансонетка:

Когда чехи Волгу брали,
Вспомни, что было...

Зрители ревели, в пьяном восторге аплодировали. Толстые, короткие, волосатые пальцы, в тяжелых золотых кольцах, комкали бумажки, небрежно бросали на сцену. Зал был полон. Лысые головы. Красные шеи. Шляпы с широкими полями и яркими перьями. Фуражки с офицерскими кокардами. Золотые, серебряные погоны. Глаза, слипшиеся, мутные, с жирным блес-

ком. Обрюзгшие, слюнявые кончики губ. Спирт. Пудра. Табак. Пот. Офицеры разместились за одним из свободных столиков. Потребовали вина. К столу подошла цыганка-хористка с лукавыми глазами.

– Офицерики молоденькие, золотенькие, угостите шоколадом.

Черный кавказец Рагимов взял хористку за руки, усадил рядом с собой на стул.

– Садысь, садысь, душа мой. Конфет будэт. Ходы на мой квартир, все будэт.

– Нет, нет, на квартиру нельзя!

Цыганка затрясла кудрями. Подошла старуха, мать хористки.

– Подпоручики, сахарные, медовые, золотые, положите рублик серебряный на ручку, всю правду скажу, всем поворожу.

Петин порылся в портмоне, отыскал серебряный полтинник, бросил его цыганке.

– Голубчик ясный, офицерик молоденький, добренький, счастливый ты. Второй раз уж надеваешь золотые погоны.

– Верно, я старый юнкер. При Керенском носил погоны, большевики сняли, теперь опять надел.

– Второй раз надел, второй раз и снимешь!

Петин побледнел. Злая усмешка мелькнула в глазах цыганки.

– То есть как сниму?

– А так и снимешь. Попадешь к красным в плен, снимешь, солдатом назовешься. Потом убежишь от них. Чего испугался? Говорю, счастливый ты.

Подпоручик успокоился, дал цыганке розовую бумажку. Офицеры пили. Мотовилов глядел на хористку масляными глазами, напевал вполголоса, покачиваясь на стуле:

По обычаю петроградскому
И московскому
Мы не можем жить без шампанского
И без табора без цыганского.

Молодая цыганка пила коньяк, громко шелкала языком, шурила глаза, закусывала лимоном. К офицерскому столу начали подсаживаться накрашенные дамы, бесцеремонно требовать фрукты, вино, конфеты. Подпоручики принимали всех. Шансонетка визжала:

Костюм английский,
Погон российский,
Табак японский,
Правитель омский.

Пьяным голосом, вразброд, весь зал орал:

Ах, шарабан мой,
Шарабан.
А я мальчишка
Шарлатан.

Спекулянт-китаец кричал на картавом, ломаном языке:

– Луска капитана одна не можна большевик ломайла. Все помогайла большевик ломайла.

Недалеко от офицеров, в полутемном углу, за маленьким столиком пили ликер худой, желчный штабс-капитан из контрразведки и тучный спекулянт. Штабс-капитан был раздра-

жен. Его сухие, тонкие губы дергались, кривились под острым носом, глаза вспыхивали нетерпеливыми огоньками.

– Да говорите же вы коротко, толком, что вы имеете мне предложить? Не тяните, ради Бога!

Спекулянт не торопясь, спокойно пил вино, излагал свои соображения:

– Я вам говорю, что с сахаром у нас дело не выйдет. Нет расчета. Японцы и семеновцы в этом отношении непобедимые конкуренты. Посудите сами, куда нам тут соваться, когда в каждом японском эшелоне или у любого семеновца цена на сахар ровно в два раза ниже объявленной омским правительством. Вы ведь отлично знаете, что они никакой монополии не признают, торгуют как заблагорассудится.

– Ну что же вы предлагаете?

– Я уже говорил вам, что самое удобное – это будет сахарин. Вы, капитан, на этом деле заработаете ровно миллион. Поняли? Миллион. Ха-ха-ха!..

Мясистый рот широко раскрылся, глаза потонули в жирных лучистых складочках кожи. Живот трепыхался, как студень.

– Ха-ха-ха! Недурно, господин капитан. Идет! А?

– Ваши условия? В чем выразится мое участие?

– О, очень немного, капитан. Капитан даст нам только маленькую бумажку от своего авторитетного учреждения, и все. Очень немного, капитан.

Табак густыми клубами вис над головами. Тапер барабанил на пианино. В зале стоял гул. Подвыпившие гости шумели. Хлопали пробки. Офицеры пили бутылку за бутылкой. Колпаков встал, поднял бокал.

– Господа, выпьем за нашу победу. Выпьем за разгром Совдепии, за то время, когда на обломках коммунизма, на развалинах комиссародержавия мы воздвигнем царство свободы, законности и порядка. Да здравствует Великая Единая Россия! Ура!

– Ура! – крикнули Рагимов и Иванов и подняли свои бокалы.

По лицу Мотовилова пробежала тень:

– Не люблю я, Михаил Венедиктович, ваших завиральных идей и всего этого либерального словоблудия. Какое там, к черту, царство свободы! Кричите, «Царство Романовых», и кончено. Вот это дело, я понимаю.

– Не будем спорить!

Колпаков махнул рукой, стал пить. Рагимов шептался с Петиним, бросая на дам жадные, откровенные взгляды.

– Валяй, валяй, какого черта, – кивал головой Петин.

Рагимов встал, быстро выхватил шашку, рубанул по электрическому проводу. Свет погас. За столом поднялась возня. Дамы визжали притворно испуганными голосами. Скатерть сползла со стола, зазвенела разбитая посуда. Буфетчик волновался за стойкой, нетерпеливо крича кому-то:

– Ах, давайте же скорее свечи! Да где у нас свечи, черт возьми?

По телефону был вызван дежурный офицер из управления коменданта. Подпоручиков переписали, составили протокол. Потом у дверей встали солдаты. Начался повальный обыск, осмотр документов. Тех, у кого не оказалось удостоверений личности, офицер отводил в сторону и, пошептавшись, отпускал, шурша кредитками. Молодые офицеры из «Летучей мыши» выбрались утром совершенно пьяные. Дорогой шумели, орали песни, останавливали извозчиков, стреляли в воздух. У Колпакова был недурной баритон.

Мне все равно —
Коньяк или сивуха,
К напиткам я уже привык давно.

Мне все равно.

Мальчик Петин пытался поддержать:

Готов напиться и свалиться —
Мне все равно.

Тонкий голосок перешел в бас и сорвался:

Мне все равно —
Тесак иль сабля,
Нашивки пусть другим даются,
А подпоручики напьются.

Колпаков, Мотовилов, Рагимов, Иванов пели, идя по середине скверной мостовой, покачиваясь и спотыкаясь в выбоинах.

– А плоховато мы все-таки, господа, обмываем погоны, – оборвал песню Мотовилов.

– Эх, вот старший брат у меня в Павлондии¹ кончал. Вот где они ночку так ночку устроили офицерскую.

– Черт возьми, а у нас ведь и ночи-то офицерской не было, – отозвался Петин.

– Да, все это как-то скоропалительно случилось. Мы ждали производства через два месяца, а тут вдруг телеграмма – в подпоручики, готово дело. Э, какое у нас училище – ни традиций, ни обстановки, казарма, солдафонщина. Ах, Павлондия, Павлондия!

Мотовилов с завистью стал рассказывать, какие офицерские ночи устраивались в Павловском училище.

– Вы знаете, господа, это делается так. Сегодня, скажем, вечером начальство заседает, обсуждается вопрос о производстве в офицеры такого-то выпуска юнкеров. А юнкера – завтрашние подпоручики – в эту же ночь встают и, надев полное офицерское снаряжение на нижнее белье, босиком, под звуки своего оркестра, торжественно, церемониальным маршем обходят училище, дефилируют и по коридору офицерских квартир. Училищные дамы любили подсматривать из-за занавесок, в щели приоткрытых дверей любовались на молодцов. Когда обойдут все училище, возвращаются в роты, тут уже начинается потеха. Младшему курсу перпендикуляры восстанавливают – кровать на спинки со спящими ставят. Расправляются со шпаками. Морду кому ваксой начистят, кого в желоб умывальника шарахнут и ошпарят ледяной водой, кого просто поколотят. Тут уж никто не подступайся. Стон стоит. Офицеры гуляют. А в кавалерийском, в Николаевском – так там еще интереснее. В Павлондии фельдфебели в своих кальсонах маршируют, а там вахмистры в дамских панталончиках, со шпорами на босую ногу.

Мимо проезжали три извозчика. Офицерам надоело идти пешком.

– Стой! – крикнул Петин.

Извозчики хлестнули лошадей, хотели ускакать.

– Пиу, пиу! – взвизгнули два револьвера.

Извозчики испуганно остановились.

– Сволочи, офицеров не хотят везти, – тяжело сажился в пролетку Мотовилов.

– Пошел! На Петрушинскую гору!

На улицах было уже совсем светло. У казармы Н-ского сибирского полка стоял дневальный.

– Остановись! Стой! – закричал Мотовилов.

¹ Павловское военное училище в Петрограде.

Извозчики стали. Офицер выскочил из экипажа, подбежал к солдату:

– Ты почему это, сукин сын, честь не отдаешь? А? Не видишь, мерзавец, офицеры едут!

Солдат дернулся всем телом назад, стукнулся от сильного тычка в зубы головой об стенку.

– Доложи своему взводному командиру, что подпоручик Мотовилов тебе в морду дал.

Понял?

– Так точно, понял!

Глаза солдата горели огненной ненавистью, рука у козырька дрожала.

Глава 3 МОЛЕБЕН

Красные языки лизали Широкое. Черный дым затянул все улицы. С треском обрушивались постройки. Скот ревел, мычал, метался в пылающих дворах. Разбитые телеги среди села горели ярко, как сухая лучина. Убитые вспухли от жара.

Полковник Орлов со штабом стоял за поскотиной и смотрел на пожар. Спокойно, развалившись в седле, говорил, ни к кому не обращаясь:

– Да, иного пути нет. Верховный правитель прав, говоря, что большевизм нужно выжечь каленым железом, как язву. Адмирал прав, давая нашему атаману полномочия спалить, стереть с лица земли в случае надобности всю эту губернию.

Молодой гусар с погонями вольноопределяющегося подскакал к Орлову, подал ему небольшой клочок бумаги. Полковник пробежал донесение своего помощника:

Аллюр... Медвежье. 9 час. 30 минут пополудни... Доношу, что Медвежье занято нами без боя. По показаниям местных жителей, красных у них нет и не было. Сторожевое охранение мною... Разведка в направлении...

Капитан Глыбин.

– Отлично! Господа, новость!

Белая кобыла круто повернулась.

– Медвежье занято нами без боя. Красные удрали.

Лошадь полковника засемила тонкими ногами, танцуя, пошла по дороге на Медвежье. Штаб отряда и эскадрон с трехцветным знаменем двинулись за командиром. Копыта четко били пыльную дорогу. Серые качающиеся столбы взметывались следом, долго, клубились в воздухе. Ехавший в последних рядах Костя Жестиков оглянулся назад. Толпа крестьян молча, долгими, тяжелыми взглядами провожала всадников. Полковник нетерпеливо поднял лошадь на галоп. Пыль поднялась выше, целой тучей. Толпа исчезла, только зарево и дым пожара были видны ясно.

Въезжая в Медвежье, Орлов подозвал к себе адъютанта.

– Корнет, немедленно прикажите собрать все село на площадь. Оповестите народ, что сейчас будет отслужен благодарственный молебен по случаю победы над бандами красных.

Полковник со штабом остановился в школе. Штабные офицеры и канцелярия заняли все классы и квартиры учительниц. Учительницы запротестовали, стали просить Орлова не выселять их. Полковник нагло улыбался и возражал, шепелявя, скандируя и кривляясь:

– Ска-ажите пжальста, они не могут спать где-нибудь в коридоре, на полу. В них, видите ли, течет три капли благородной крови. Хе-хе-хе! Хотя, впрочем, я человек добрый, если вам будет жестко...

Полковник сказал сальность.

– Не правда ли, корнет? – обратился он к адъютанту.

Адъютант вытянулся, щелкнул шпорами, почтительно улыбнулся:

– Так точно, господин полковник!

– Разговор кончен, вопрос решен, – обернулся полковник к учительницам. – Вас я выселяю, можете поместиться у сторожихи. Школу определенно закрываю. Во-первых, потому, что она нужна мне для канцелярии, квартир; во-вторых, я полагаю, что детей разной красной дряни учить грамоте не стоит. Ведь она им годится, когда они подрастут, только для того, чтобы писать прокламации, разводить антиправительственную пропаганду, – это не интересно нам. Итак, я кончил. Вон отсюда!

Учительницы пошли к дверям.

– Виноват, одну минутку, – снова обратился к ним Орлов. – С завтрашнего дня вы готовите мне обед, понятно?

– Нет, непонятно, – ответила невысокая крепкая Ольга Ивановна. – Обед готовить мы вам не обязаны и не будем!

– Ну конечно, конечно, разве можно сделать что-нибудь для честного защитника родины? Разве можно сварить обед старому офицеру? Вот какому-нибудь красному негодяю, своему любовнику, вы, пожалуй бы, все сделали, не только обед, но и ужин бы состряпали, а после ужина...

Полковник снова сказал гадость. Ольга Ивановна побледнела.

– Я попрошу «благородного» полковника быть повежливее! – запальчиво бросила она ему.

Полковник расхохотался:

– Корнет, корнет, ха-ха-ха! Слышите? Эта вот учителька, эта мужичка, хамка, ха-ха-ха, учит меня вежливости, меня, дворянина, полковника, воспитанника кадетского корпуса. Ха-ха-ха! Да вы, оказывается, оригинальная штучка! Ну-ка, я вас посмотрю поближе.

Он вскочил со стула, хотел схватить учительницу за талию. Ольга Ивановна сделала шаг назад, подняла руку.

– Еще одно движение, и вы получите по физиономии.

Полковник покраснел, злоба мелькнула у него на лице. Но он моментально овладел собой, улыбнулся с деланной любезностью:

– Ой, ой, какие мы сердитые! Мы, оказывается, кусаемся!

И вдруг снова стал серьезным.

– Ну-с, мадмуазели, или как вас там, шутки в сторону. Больше уговаривать вас я не намерен. Приказываю вам завтра же приготовить мне обед. Не приготовите – выпорю. А теперь – марш на место.

...Почти все село собралось на площадь. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и молодежь. Красильниковцы оцепили площадь, загородили выходы пулеметами. Звонили колокола, неслось молитвенное пение, священник набожно, неистово крестился, поднимая глаза к небу, просил у Бога ниспослания мира всему миру и многолетия верховному правителю. Народ пугливой толпой колыхался на площади. Многие плакали. Полковник, опираясь на эфес кривой сабли, простоял почти весь молебен на коленях. Свита не отставала от начальства. Люди в блестящих мундирах, с золотыми и серебряными погонами, вооруженные до зубов, тщательно крестились. После молебна полковник встал на сиденье своего экипажа.

– Мужики! Разговаривать долго с вами я не буду. Говорить нам не о чем. Вы знаете хорошо, что я верный слуга отечества. Среди вас много есть этих извергов рода человеческого, не признающих ни Бога, ни правителя. С ними я и думаю сейчас же расправиться.

Лица вытянулись. Глаза резко обозначились сотнями черных больших точек на бледно-сером лице толпы. Безотчетный, смертельный страх колыхнул массу. Люди попятнулись назад. Предостерегающе щелкнули шатуны пулеметов. Пулеметчики заняли места у машин. Площадь застыла. Полковник улыбнулся, зычно бросил:

– Спасибо, молодцы-пулеметчики!

– Рады стараться, господин полковник!

– Что, боитесь, каналы? – заорал Орлов на толпу. – Видно, совесть-то у вас не совсем чиста. На колени, прохвосты, все на колени, сию же минуту!

Многоликая пестрая масса женщин, детей и мужчин потемнела, с плачем и стоном опустилась на колени. Платочки, шапки, фуражки закачались на минуту и остановились. Площадь снова стала мертвой, тихой.

– Шапки долой!

Головы обнажились. Сотни рук мелькнули. Легкая рябь, как на воде, наморщила разноцветные ряды медвежинцев.

– Первый эскадрон, ко мне! – скомандовал полковник.

Гусары в пешем строю змейкой проползли через толпу, выстроились в две шеренги. Винтовки метнулись в руках. Черные, круглые отверстия стволов качнулись, двумя рядами повисли перед лицом толпы.

– Сознавайтесь, кто из вас большевики? Кто из вас помогал красным? Кто сочувствует им?

Толпа молчала.

– Честные люди, к вам обращаюсь, – укажите негодяев, им не место среди вас.

С тяжелой одышкой человека, страдающего ожирением, прижимая рукой крест к груди, высокий, упитанный отец Кипарисов подошел к Орлову.

– Я вам, господин полковник, всех их сейчас укажу. Вот они все у меня переписаны.

Священник достал из кармана длинный лоскут бумаги.

Толпа стала совсем черной, пригнулась тяжело к земле.

– Иванов, Непомнящих, Стародубцев, Белых. Этих двух первых, вот чего – расстрелять, а этих двух, вот чего – пока только можно выпороть.

Кипарисов читал долго, обстоятельно, пояснял, кого нужно расстрелять, а кого только выпороть. Толстый кривой палец в широком черном рукаве размеренно поднимался и опускался. По его указанию гусары бросались в толпу, вырывали из нее поодиночке, по два, кучками. Площадь колыхалась, глухо стонала. Лавочник Жогин протискался к полковнику.

– Господин полковник, разрешите доложить, – и, не дожидаясь ответа, боясь, что его не станут слушать, быстро заговорил: – Батюшка забыл еще четырех большевиков указать вам.

– Кровопивец! – крикнул кто-то в толпе.

Жогин обернулся.

– Ага, это ты, Бурхетьев? Знаю тебя, большевика, и твоих товарищей – Степанова, Галкина и Чернова.

Всех четверых схватили. Полковник кивнул адъютанту:

– Корнет, прошу приступить.

– Слушаюсь, господин полковник!

Бледных, с запекшимися, перекошенными губами поставили у каменной церковной ограды. Их было сорок девять. Против них развернулся веер красных погон, круглых кокард. Черные дыры винтовок двумя рядами, покачиваясь, щупали головы и груди приговоренных.

– Господин полковник, разрешите начинать.

– Пжалста, – небрежно бросил Орлов.

– По красной рвани пальба эскадронами! Эскадрон!

Площадь взвизгнула, застонала. Лица стали белыми, как платочки на головах женщин.

– Подождите, подождите, корнет! – остановил полковник. – Уж очень вы скоро. Прямо без пересадки, да и на тот свет. Надо дать им время подумать. Может быть, и раскается кто? В свое оправдание еще кого не укажет ли?

Белая стена камня. Белая полоса лиц. Старик Грушин застонал:

– Кончайте скорее, палачи.

Жена партизана Ватюкова забилась, рыдая, на земле.

– Приколоть ее, – махнул рукой адъютант.

Черная, тонкая, граненая железка разорвала в горле женщины предсмертный крик.

– Мамку закололи! – завизжал в толпе ребенок.

– Не визжи, поросенок, подрастешь – и тебя приколем, – прикрикнул на него Орлов.

Площадь умерла. Людей не было. На карнизах церкви возились и ворковали голуби, чирикали воробьи. Живые были только они. Солнце остановилось, жгло нещадно. Сотни

голов наполнились расплавленным металлом, отяжелели, распухли. В глазах прыгали огненные брызги.

– Ну-с, видимо, желающих раскаяться нет? Закоренелые негодяи все. Корнет, продолжайте.

Что-то дернуло коленопреклоненную площадь. Оборвалось что-то. Пригнулись еще. Лица были почти у земли.

– Товарищи большевики, смирна-а-а, равнение на пули, на тот свет карьером ма-а-арш!

Шашка, тонко свистнув, сверкнула. Черные круглые дырки винтовок, все два ряда, желтыми огоньками загорелись, стукнули. Полоса белых камней на стене из белого камня рассыпалась, рухнула на землю. Расстрелянные подпрыгнули, упали навзничь. Полковника душил смех.

– Молодец, корнет, молодец, тонный парень, тонняга, корнет. Ха-ха-ха! На тот свет карьером... Ха-ха-ха! К Владимиру тебя, к Владимиру с мечами и бантом представляю, каналью.

– Покорнейше благодарю, господин полковник!

Залп опрокинул толпу на землю. Женщины судорожно бились, рыдали. Старики, старухи молились. Мужики стонали. Молодежь сжимала кулаки, кусала губы. Орлов взглянул на площадь. Ткнул пальцем.

– Ребята, вот этой молодой девке десять порций. Погорячей, шомполами. Пусть помнит лихих гусар атамана Красильникова.

Серая пыль площади. Белые пятна. Живые, полуголые. Свист. Железные прутья. Кровавые рубцы. Кровь. Красное мясо. Колокольный звон лгал. У церковной ограды дергались ноги. Рука крючила пальцы. Мертвых было сорок девять. Окровавленных шестьдесят.

Пестрая толпа с болью еле встала, зашаталась.

А колокол все лгал.

Глава 4

НЕЖНЫЕ ПАЛЬЧИКИ

Роса еще не высохла на белых астрах, сорванных утром. Крупные капли прозрачной влаги падали с умирающих цветов на полированную крышку рояля, рассыпались сверкающей пылью. Высокая хрустальная ваза светилась льдистыми, гранеными краями. Тонкие, длинные, нежные пальцы с розовыми ногтями едва касались клавиш. Звонкие струйки звуков скапывались с черных массивных ножек, волнами расплескивались по сияющему паркету большой светлой гостиной. Мягкие кресла, диван с суровыми, прямыми спинками мореного дуба, тяжелые, темные рамы картин были неподвижны. Барановский, сдерживая дыхание, напряженно застыл на низком бархатном пуфе. Татьяна Владимировна импровизировала. Ее глаза, большие, темно-синие, были полузакрыты. Бледное лицо с прямым носом и высоким лбом было слегка приподнято. Густые темные волосы высокой прически запрокидывали назад всю голову. Офицер смотрел на девушку и с тоской думал, что он сегодня с ней последний раз. Завтра нужно было ехать на фронт. Последний раз. Может быть, никогда больше они не встретятся. Татьяна Владимировна встала, устало протянула Барановскому руки. Подпоручик вскочил с пуфа и стал медленно, осторожно прикасаясь губами, целовать тонкие, немного похолодевшие пальцы.

– Татьяна Владимировна, я не хочу уезжать от вас.

Черные, широко разрезанные глаза офицера были влажны. Пухлые, еще не оформившиеся губы сложились в кислую гримасу.

– Милый мальчик!

В соседней комнате, в столовой, гремели посудой. Накрывали к завтраку.

– Но ведь я же не могу без вас! Поймите, не могу. Я застрелюсь.

Татьяна Владимировна посмотрела на офицера пристально, серьезно.

– Иван Николаевич, не будьте ребенком. Вам уже двадцать лет. Вы должны ехать.

– Почему я должен, а не кто-нибудь другой?

– Все должны, Иван Николаевич: и вы, и другой, и третий. Если бы все остались дома, то тогда красные ведь не замедлили бы пожаловать сюда и со всеми нами расправиться.

– Но почему же я именно должен, когда я так люблю вас.

Татьяна Владимировна пожала плечами, улыбнулась:

– Ребенок. Совсем ребенок!

Вошел лакей.

– Кушать подано.

В столовой за столом сидели отец Татьяны Владимировны, старик профессор, и молодой человек, худосочный, угреватый, с мутными оловянными глазами, в студенческой тужурке. Остроконечный клинышек седой бороды, лысина, пенсне профессора приподнялись.

– Здравствуйте, Иван Николаевич. А это наш знакомый, Алексей Евгеньевич Востриков, студент института восточных языков.

Барановский пожал маленькую, сухую руку профессора и еле дотронулся до липкой, холодной ладони Вострикова. Профессор с Востриковым вели разговор о русской торговле и промышленности, о причинах их упадка.

– Все-таки, Алексей Евгеньевич, я не могу согласиться с вами, что в ближайшее время нам нельзя рассчитывать на полный пуск всех фабрик.

Барановский и Татьяна Владимировна сели рядом.

– Напрасно, профессор, вы слишком оптимистически смотрите на вещи. Скажите, разве в условиях ожесточенной гражданской войны можно рассчитывать на что-нибудь серьезное в этом деле?

– Безусловно, нет. Но ведь Советская Россия скоро прекратит свое существование. Востриков иронически улыбнулся.

– Нет, профессор, до этого еще далеко. Конечно, я уверен, что рано или поздно Совдепия падет, но пока, пока мы воюем, следовательно, нужно жить и вести хозяйство, приспособляясь к обстановке борьбы.

– То есть, ставя точку над «и», вы, Алексей Евгеньевич, утверждаете, что торговли сейчас, в полном смысле этого слова, быть не может, будет только спекуляция. Промышленность крупная, фабричная не пойдет, будет процветать мелкое кустарничество.

– Вот именно, больше пока что мы не можем. Я вам скажу из личного опыта; надеюсь, вы можете мне верить как порядочному спекулянту.

Барановский с удивлением поднял глаза на Вострикова. Профессор улыбнулся.

– Не удивляйтесь, поручик, – поймал студент мысли офицера. – Я самый настоящий спекулянт. Вы смотрите – студенческая тужурка? Это для виду. Я только на бумаге студент Владивостокского института восточных языков. Правда, я кончил гимназию с золотой медалью, но учиться сейчас и некогда, и невыгодно. Я студенческие документы использую только для свободного проезда от Иркутска до Владивостока и обратно. Я даже, если хотите, из тех же соображений и, кроме того, чтобы освободиться от военной службы, выправил себе монгольский паспорт.

Барановский засмеялся. Востриков, улыбаясь, говорил:

– Вот и смейтесь, любуйтесь – перед вами монгольский подданный, студент института восточных языков, человек, которого никто не смеет побеспокоить и который прелегально делает оборот в два миллиона рублей в день.

Профессор счел долгом пояснить офицеру:

– Вы, Иван Николаевич, не верьте ему. Алексей Евгеньевич – человек чересчур резкий и откровенный, страдающий привычкой все немного преувеличивать. Никакой он не спекулянт, а просто великолепный коммерсант, и все.

Востриков смотрел на Барановского мутным, прицеливающимся, взвешивающим взглядом старого торговца, тряс головой.

– Нет, поручик, я хочу сказать вам всю правду. Вы вчера только училище кончили, полны, следовательно, самого пустого мальчишеского обалдения и глупой радости. Вы сейчас все в розовом свете себе представляете. Так вот знайте, что торговли у нас нет, крупного порядочного товарообмена нет, есть только мелкие спекулятивные сделки, есть крупные аферы, которыми не брезгают даже министры, вот и все.

Нет, вы подумайте только, поручик, какая у нас может быть сейчас торговля, товарообмен, как может наладиться хозяйственный аппарат, когда у нас, что ни шаг, то верховный правитель, атаман; каждый требует с тебя – дай. Каждый за малейшее слушание карает, как изменника – кого, чего – ему неизвестно. Гм, торговля, промышленность. – Востриков желчно засмеялся. – Разве я могу получить хоть вагон товара без толкача? Никогда. Я должен ехать сам со своим грузом и толкать, проталкивать его через каждую станцию. Японцам – дай. Семеновцам – дай. Железнодорожникам до стрелочника включительно – дай. Не дашь – не поедешь. Тысячу рогаток поставят. А семеновцы так просто товар заберут. Каждый раз едешь и не знаешь, довезешь или нет? Разоришься или наживешь? Но когда я прорвусь через все преграды, привезу товар на место, тут уж, извините, процентик я наложу не по мирному времени. Я рискую, я и беру. Сто, двести процентов мне мало, я накладываю четыреста, восемьсот, тысячу. Я вздуваю цены до последней возможности.

– Но ведь это же не... не... хорошо. – Барановский хотел сказать – не честно, но не мог. – Зачем вы так делаете? – наивно спросил он спекулянта.

Востриков расхохотался.

– Ну и дитяtko же вы, голубчик! Нехорошо! Поймите, что я коммерсант со дня рождения, по натуре коммерсант. И если нельзя сейчас, как говорится, честно торговать, так будем спекулировать. Будем приспособливаться. Не сидеть же сложа руки, когда дело к тебе само лезет.

Профессор закурил сигару. Барановский сидел, беспокойно посматривая на Татьяну Владимировну. Ему не хотелось поддерживать разговор с Востриковым, он мечтал провести последние часы перед отъездом наедине с любимой девушкой. Офицер нервно вертелся на стуле. Сыр ему казался пресным, масло горьким, кофе недостаточно крепким. Часы на стене отчетливо и гулко пробили два. Офицеру скоро нужно было уходить. Татьяна Владимировна заметила его тоскливый, беспокойный взгляд.

– Вам, Иван Николаевич, кажется, уходить скоро? Пойдемте в сад. Я хочу показать вам в последний раз наши цветы.

Подпоручик покраснел, смутился, вскочил со стула, чуть не опрокинул свой стакан. В саду Татьяна Владимировна усадила Барановского на широкий зеленый диван перед большой круглой клумбой.

– Иван Николаевич, я хочу поговорить с вами серьезно.

– Ради Бога, я всегда готов вас слушать.

– Вы должны не только слушать меня, но и слушаться.

– Слушаюсь, Татьяна Владимировна, слушаюсь.

– Если вы хотите, чтобы ваша Таня была счастлива, – идите на войну. Вернитесь оттуда или живым, или мертвым, но героем. Идите, если не хотите, чтобы грязные солдатские сапоги затоптали наш чудесный паркет. Если хотите, чтобы ваш кумир был одет достойным образом, в тонкие, нежные ткани, чтобы на его ножках были такие же башмачки, идите!

Татьяна Владимировна выставила острый кончик лакированной туфельки.

– Иван Николаевич, вы человек интеллигентный, вам дорого, несомненно, все, что создано веками работы поколений, веками работы мысли лучших людей, вам дорога наша культура. Ради спасения всего этого мы должны поставить на карту свою жизнь.

Татьяна Владимировна говорила горячо. В ее голосе звучали нотки гнева и глубочайшей веры в свою правоту. Барановский взял ее за руки. Девушка посмотрела ему в глаза.

– Вы любите эти руки? Вы хотите, чтобы они остались такими же нежными? Хотите, чтобы эти пальчики пахли духами, а не салом кухонных тряпок? Хотите?

Барановский молча целовал руки Татьяны Владимировны, жадно вдыхая запах духов и женской кожи.

– Прощайте, Иван Николаевич, вам время идти.

Девушка взяла офицера за голову, провела рукой по его щетинистой прическе, посмотрела в большие черные глаза, на пухлые губы со жгутиком пушка под мясистым носом, на ямочку подбородка и тихо, долгим поцелуем прижалась к его лбу.

– Идите. Профессору я передам поклон.

Барановский, опустив голову, пошел к калитке.

– Подождите, дайте на минутку мне вашу шашку!

Подпоручик остановился, с недоумением посмотрел на девушку, неловко вытащил из ножен клинок. Татьяна Владимировна на секунду быстро прикоснулась губами к черной рукоятке.

– Видите, я поцеловала ваш меч. Не опустите его, не продайте. Я буду вашей женой, когда вы с ним вернетесь из завоеванной Москвы.

Глава 5 НАПУТСТВИЕ

На другой день офицерский эшелон отправился на фронт. Проводить уезжающих пришли родные, знакомые. Прибыл с блестящей свитой командующий войсками округа, приехали управляющий губернией, городской голова, шли офицеры, бывшие воспитатели окончивших училище. Проводы были торжественны. Представители власти выступали с речами. Командующий округом, пожилой генерал, говорил старые, избитые слова о долге перед родиной, о чести мундира. В заключение провозгласил ура за здоровье «обожаемого» вождя армии, адмирала Колчака. Офицеры, вымуштрованные за десять месяцев, собаку съевшие на ответах начальству, рявкнули дружное и громкое ура. Оркестр заиграл гимн «Коль славен наш Господь в Сионе»². Головы обнажились. После командующего выступал управляющий губернией, правый социалист-революционер Ветров. Ветров говорил долго, клялся, оставаясь в тылу, не покладая рук бороться с красной крамолой. Речь кончил, как и генерал, здравицей за диктатора. Офицеры, как по команде, деревянными, казенными голосами прокричали три раза ура. Вместо городского головы, кадета Ковалева, выступил представитель городского самоуправления – маленький, шупленький меньшевик Прошивкин. Он начал свой монолог торжественным заявлением о том, что меньшевики бдительно стоят на страже завоеваний революции и интересов рабочего класса, что они, меньшевики, давно бы привели пролетариат к полному освобождению, если бы не большевики, отодвигающие приход желанной свободы своими социалистическими экспериментами. Чем дальше говорил Прошивкин, тем больше вдохновлялся.

– Господа офицеры, – кричал он, – вы идете на славный подвиг! Вы идете на борьбу с комиссародержавием! Выше головы, господа офицеры!

Сотни белых кокард, золотых и защитных погон заискрились. Офицеры улыбались, откровенно насмешливо рассматривая худенькую, тшедушную фигуру оратора.

– Да преисполнятся сердца ваши гордым сознанием того, что вы идете за правое дело, за торжество идей равенства и братства, за освобождение трудящихся от большевистской каторги. Ура!

– Ура! Ура! Ура! – послушно кричали офицеры.

Погоны поблескивали на солнце. Некоторые с усталыми, скучающими лицами морщились, ворчали, что они вовсе не намерены драться за какую-то свободу. Представитель местного купечества Кулагин начал играть напыщенными фразами:

– Доблестные защитники Родины, с отеческой скорбью благословляем мы вас на тяжкий подвиг ратный. Идите, дети! Матери, жены и сестры ваши со слезами надежды провожают вас. Они будут ждать вас обратно победителями.

Подпоручику Петину надоели речи; он вышел из строя, пробрался через густую толпу провожающих на свободный конец перрона. К нему подошла его знакомая, институтка Тоня.

– Это вам, Андрюша, от меня, – сказала она, подавая офицеру букет белых роз. – Вы такой герой, такой храбрый – едете драться с большевиками и не боитесь!

Институтка смотрела на подпоручика ясными, восхищенными глазами.

– Вы победите их? Да?

Петин улыбнулся и, пощипывая верхнюю губу, говорил, что ничего страшного в большевиках нет, что скоро их, вероятно, совсем разобьют.

Кулагин кончил:

² «Коль славен...» при Колчаке считался национальным гимном.

– Идите с Богом, защитники наши, знайте, что мы, оставаясь здесь, ничего не пожалеем для блага Родины. Заложим жен и детей, распродадим имущества наши, но не сдадимся супостату. Ура!

– Ура! Ура! Ура!

Оркестр заиграл «Коль славен...». Все сняли фуражки.

Станционный сторож два раза ударил в колокол. Матери стали крестить сыновей. Поцелуи, объятия. Женщины плакали. Офицеры садились в поезд. Пестрое лицо толпы металось у длинной красной змеи эшелона, потемнев, беспокоясь. Высокий черноусый Мотовилов стал на площадку вагона, поднял руку. Толпа примолкла, обернулась к подпоручику.

– Господа, от имени всех уезжающих приношу глубокую благодарность за то внимание, какое было оказано нам сейчас. Говорить много я не буду. Нет. Я позволю себе только вспомнить здесь слова незабвенного генерала Лавра Георгиевича Корнилова, сказанные им во время революции. Вот они: «Довольно слов, господа, мы слишком много говорим. Довольно!»

Раздался третий звонок, паровоз резко свистнул, и поезд плавно двинулся вперед.

– Bravo! Bravo! Правильно! Ура! Ура! Ура! – кричали провожающие.

Мелькали фуражки, шляпы, зонтики, платочки. Тоня шла рядом с площадкой, на которой стоял Петин.

– Андрюша, когда вы убьете первого большевика, то снимите у него с фуражки красную звезду и пришлите мне на память. С германской войны Кока мне каску привез, я была очень рада. Ведь интересно иметь какую-нибудь вещь врага. Не забудете, Андрюша?

– Нет, Тонечка, не забуду. Обязательно пришлю.

Поезд пошел быстрее.

– До свидания, Тонечка, до свидания, – офицер посылал смутившейся институтке воздушные поцелуи.

Через несколько секунд станция и перрон с пестрой толпой скрылись из виду. Паровоз развил скорость полного хода. Мимо навстречу бежали красивые вагоны с запасных путей, низенькие домишки пригорода, зеленые поля.

Дорога была опасная. Партизаны часто спускали воинские поезда под откос, делали набег на станции. Офицерам выдали винтовки, и они во все время пути поочередно дежурили на остановках, боясь нападений. Ехали весело, вина и закусок было много. В некоторых вагонах пьянство стояло непробудное. Сразу как-то все почувствовали, что приближается что-то страшное и огромное, перед чем стушевываются, меркнут все мелочи дня. Поезд быстро катился на запад.

– Теперь ничего не нужно делать, не нужно думать, пей и пойд, – говорил Колпаков.

Социалист-революционер подпоручик Иванов смотрел в даль убежавших лесов и оврагов.

– Какие хорошие слова. Приюты науки... Студенты... За Отчизну... За свободную Отчизну с Учредительным собранием...

Мотовилов презрительно плюнул и поморщился:

– Учредилка. Социалисты паршивые. Свобода. Русскому народу нагайку, а не свободу нужно. Жандармов побольше да царя-батюшку. В этом все наше спасение.

Мотовилов стал бестолково спорить, ругаться. Иванов замолчал; он вспомнил, что Мотовилов воспитанник кадетского корпуса, что кадета логикой не убедишь. Мотовилов, довольный тем, что за ним осталось последнее слово, начал петь, приплясывая:

Как Россию погубить,
У Керенского спросить.

Офицеры подтягивали бессмысленный припев:

Журавель, журавель, журавель,
Журавушка молодой.

Громкие песни с гиканьем и свистом, смешиваясь с грохотом поезда, наполняли тайгу целым потоком быстро бегущих звуков, будили жителей станционных поселков. На остановках вокруг эшелона собирались кучки любопытных. Офицеры заигрывали с молодыми деревенскими девками, хвалились, что скоро разобьют большевиков. Дым и пыль столбами крутились за эшеленом. Как на экране, мелькали станции.

Глава 6 «ВСЕ ПОЙДЕМ»

В стороне от железной дороги, в тайге, кипела своя жизнь. Партизаны спешно укрепляли Пчелино. Густой туман сырым серым одеялом закутывал пустые улицы, дворы. Острые железные лопаты со скрипом рвали мягкий зеленый травяной ковер, разостланный вокруг всего села. Говорили шепотом. Вырытую землю осторожно накладывали длинным черным валом. Дозоры подозрительно шупали мокрую траву, раздвигали кусты, тыкались о деревья.

Красное знамя, потемнев, тяжелыми складками повисло над входом в школу. В большом классе на кафедре горел жировик. Пятна света налипли на лицо Григория Жаркова. Вместо глаз у него темнели впадины. Подбородок стал шире. У секретаря волосы торчали спутанной кучей. За партами стеснилось собрание представителей боевых отрядов, местных крестьян и шахтеров из Светлоозерного. Жировик красноватыми клиньями распарывал комнату. Глаза, щеки, носы, освещенные на мгновение, наливались кровью и снова чернели. Говорил борода-тый шахтер Мотыгин:

– Товарищи, так што мы кончили германску войну, поспихали к чертям всех бар, так они к нам с новой войной лезут. Сказано было, чтобы без аннексиев и контрибуциев, а им не по нутру. Видишь ли ты, долги старые получить захотелось. Поперек горла, значит, им советская-то власть встала. Не хочется им, чтобы рабочие и крестьяне сами собой управляли, охота повластвовать, барскую свою спесь показать.

Собрание слушало. Шахтер заговорил часто и сбивчиво:

– Нет, не быть тому! Не дадимся, товарищи! Отстоим советскую власть.

– Не дадимся! Отстоим!

– Они хотят, товарищи, опять нас в окопы, опять стравить с кем-нибудь, чтобы нашими руками жар загребать.

– Не пойдем! Не жалам! Долой войну!

– Коли не жалам, товарищи, так всем надо, всем как одному, за оружие браться.

– Все! Все пойдем! С вилами! С кулаками!

– У белых градов оружия хватит – отыдем.

Мотыгин замолчал. В классе стало тихо. Красноватые клинья резали толпу.

– А мож, есть промеж нас, товарищи, трусы? Мож, кому бела власть лучше кажется?

Клинья погасли. Жировик замигал тускло, с дрожью. Голова шахтера темным комом расплылась, пропала в темноте. Темнота загрохотала:

– Не дело говоришь, Мотыгин. Говори да не заговаривайся! Бела власть! Широкое спалили! Дочку изнасилничали! Нас разорили! Попадью с ребенком зарубили! Жену прикололи! Все Медвежье перепороли! Девоч всех опозорили! Ни старому, ни малому от них пощады нет! Бела власть! Бела власть! Грабеж! Убийство! Хуже старого режима! Где жить будем? Жить как? Унистожить! Унистожить гадов! Шомполами порют! Вешают!

Винтовки стучали тяжелыми прикладами. Пол и парты скрипели. Стало совсем тесно. Мотыгин сел. Старик Чубуков вышел из толпы:

– Товарищи, нечего нам тут сумлеваться, есть промеж нас трусы али нет.

Шум прекратился.

– Мы все знаем, что с белыми гадами жить нельзя. Теперь все знаем. Неделю тому назад я не знал еще, я думал, коли я никого не трогаю, так и меня никто не тронет, ан вышло совсем не то. Дочь родную... – старик затрясся, побледнел, – дочь родную на глазах у матери, у отца, у мужа изнасилничали. Все мы были дома. Слышали, видели, а сделать ничего не могли, потому их сила. Что мы двое с зятем можем? У зятя, окромя того, в ту ж ночь сестренку Машу, четырнадцатилетнюю девочку, замучили звери. Теперь мы вот оба здесь и старуха с нами. Дочки-

то нет – замучили изверги. Теперь я говорю, что силен Колчак, а мир сильнее его. Миром мы не одного такого уберем. Мир – сила. Мир все может. Надо только всем крестьянам пояснять как следует. Пусть слепых не будет. Пусть все узнают, что белые банды вытворяют, что они сделают с нами, коли власть свою удержат.

– Правильно! Правильно!

Чубукова сменил бывший священник из Широкого Иван Воскресенский. Он был без рясы, коротко острижен, с шомпольной одностволкой за плечами.

– Дорогие товарищи, не удивляйтесь, что ваш пастырь духовный крест сменил на ружье. Когда-то Христос, кроткий и любвеобильный, взял плеть, чтобы изгнать торгующих из храма. Я простой, грешный человек и больше терпеть не могу. Не могу я больше говорить о смирении, о любви.

Темнота застыла. Каплями масла на раскаленную плиту падали слова Воскресенского. Чад острой ненависти к белым застилал глаза, захватывал дыхание. Бывший священник был наружно спокоен, но говорил со сдержанным волнением и силой:

– Не могу, когда вижу, как телом и кровью Христа отцы Кипарисовы торгуют, как они Его именем истязают и распинают целые села. Палачи жену мою и ребенка шашками зарубили за то, что осмелилась противиться поджогу. Да разве я могу после этого оставаться там служить молебны о даровании побед и многолетия убийцам моих ребенка и жены? Разве я могу смириться? Нет, я хочу мстить. Я думаю, что моя месть – святая месть. Моя месть пусть сольется с вашей. Я все силы свои, все знания отдам на общее дело борьбы. Мы все здесь сошлись одинаковые – у каждого есть замученные, убитые родные, близкие. Товарищи, клянусь вам, что я не выпущу из рук оружия до тех пор, пока не будет уничтожен последний из этих гадов. Поклянемся все, товарищи, что мы будем мстить до конца, до победы! Терпеть больше нельзя. Если мы не положим предела бесчинствам этих вампиров, они в крови утопят всех трудящихся, загонят нас в кабалу темного рабства. Не будем рабами, не дадимся в когти новоявленным рабовладельцам!

– Не дадимся! Клянемся! Все клянемся!

Черные руки трясли винтовками, шомполками и берданами.

– Наступать надо! Нечего дожидаться! Вперед! Бить их, гадов! Наступать! Чего ждате! Наступать! Наступать!

Председатель встал, стукнул кулаком:

– Товарищи, внимание!

Жировик стал тухнуть. Черная толпа затихла.

– Всем галдеть зря нечего. Сейчас товарищ Суровцев обскажет вам все, что нужно. Прочтет приказ Военно-революционного районного штаба, тогда увидите, как и кому нужно действовать.

Высокий сутуловатый Суровцев, с копной густых кудрявых волос, длинной темной тенью заслонил гаснущий огонек жировика.

– Товарищи, я думаю, нам нечего говорить о том, что мы согласны или не согласны воевать с белыми. Я думаю, что каждому из нас ясно и понятно, что вопрос борьбы с этими палачами есть вопрос жизни и смерти. Мы живем и будем жить постольку, поскольку ведем и будем вести борьбу. Теперь не может быть речи о какой-нибудь капитуляции, мире.

– Мир будет, когда этих гадов не будет!

– Товарищи, к порядку!

Жарков привстал со стула. Винтовки сердито стукнули.

– Борьба может закончиться только поражением одной из сторон, поражением, а следовательно, и ее полным уничтожением. И на самом деле, как я могу помириться с негодяем, изнасиловавшим мою сестру, засекшим мою мать, заколовшим мою жену, повесившим моего брата, расстрелявшим моих детей?!

– Смерть гадам!

– Товарищи! – Жарков покачал головой. – Мы должны бороться, боремся и будем бороться.

– До конца! До победы! Осиновый кол им, гадам, в могилу!

– И вот районный штаб поставил своей ближайшей задачей организовать борьбу более правильно, планомерно, в больших размерах, в более широком масштабе. Силы живой, бойцов, – у нас хоть отбавляй. Мы получаем подкрепления каждый день. Каждая новая расправа красильниковцев, их новый налет на какую-нибудь деревню, село гонит оттуда в наши ряды десятки лучших людей. Сегодня перед вами выступал старик Чубуков, он будет теперь активным борцом, он только что понял, что нейтральным в этой борьбе остаться нельзя, что нужно примкнуть либо к людям, либо к человекоподобным зверям. Нет сомнения, что скоро все крестьяне нашего уезда решат вопрос о войне точно так же, как решил его Чубуков. Итак, нам нужно позаботиться, чтобы влить в определенные формы, рамки разрастающееся восстание против золотопогонных убийц и мародеров. Нужно позаботиться, чтобы семьи бойцов, которые вынуждены следовать за нашими отрядами, были поставлены в хорошие условия, чтобы им были обеспечены и хлеб и кров. Наконец нужно позаботиться, чтобы и вся наша армия ни в чем не нуждалась, и в первую голову в оружии и патронах.

– Вот это дело! Правильно!

Темнота всколыхнулась. Суровцев, народный учитель-самоучка, бывший политический каторжанин, пользовался среди партизан большой популярностью и авторитетом.

– Районный штаб, товарищи, в своем последнем приказе по войскам Таежного повстанческого района предлагает в целях, только что мною указанных, следующее...

Суровцев говорил спокойно, твердо, отчеканивая каждое слово, каждую букву:

– Первое. Батальонам Мотыгина и Черепкина развернуться в полки трехбатальонного состава и именоваться: первому – 1-м Таежным полком, второму – 2-м Медвежьинским; командирами остаются командиры батальонов. Отрядам Сапранкова, Силантьева и Вавилова слиться в 3-й Пчелинский полк под командой товарища Силантьева. Конные отряды Ватюкова и Кренца свести в отдельный кавалерийский дивизион. Командование возлагается на товарища Кренца. Комендантской команде штаба развернуться в запасный учебный батальон, выделив из своего состава новую комендантскую команду, команду связи и саперную команду. Командование возлагается на товарища Гагина. Из всех не имеющих оружия и небоеспособных беженцев составить рабочую дружину под начальством товарища Неизвестных.

Второе. Выделить немедленно из действующих частей всех специалистов – слесарей, токарей, механиков – и поручить им организацию мастерской для литья и точки пуль, снаряжения, патронов, изготовления ручных гранат и починки оружия.

Третье. Создать при штабе агитационный отдел, на который возложить, помимо устной агитации в нашей армии, среди местного населения и в рядах противника, в его тылу, издание листовок и газеты, используя для этого имеющиеся две пишущие машинки. Руководство отделом поручить товарищам Суровцеву и Воскресенскому.

Четвертое. Создать совет народного хозяйства, в распоряжение которого передать все запасы обмундирования, снаряжения, вооружения, продовольствия и перевязочные средства. На него же возлагается обязанность снабжения армии всем необходимым, вплоть до огнеприпасов. Ему поручается открытие полевого госпиталя и летучки и устройство и обеспечение семей бойцов и беженцев. Председателем совета народного хозяйства назначается Говориков.

Жировик потух. Запахло горелым салом и копотью. Тень Суровцева пропала в темноте. Суровцев продолжал развивать планы штаба. Перед собранием развевалась картина большой крепкой организации.

За селом дозоры наткнулись на противника. В тайге коротко вспыхнули и зашумели выстрелы:

– Тра! Трах! Та! Та!

– Трах! Бух! Бах! – ответили дробовики партизан.

– Трах! Та! Та! Та! Трах!

Партизаны замолчали, залегли, послали в село донесение. Белые дальше идти не решились, окопались, подтянули цепи почти на линию дозоров. Из школы молча, быстро лился широкий живой поток. Наскоро строились. Тревожно чернели длинные стволы шомполок, острые стрелки штыков. Залегли за черным валом.

На заре у белых за цепью громынуло. Снаряд провизжал в свежем туманном воздухе и ткнулся в землю, не разорвавшись. Жарков верхом на лошади стоял у крайней избы, разглядывая тонкую линию окопчиков противника. Выдвигающий механизм работал плохо, в одной половине бинокля стекла были выбиты пулей. Жарков, зажмуривая глаза, морщился. Пчелино с трех сторон густыми цепями охватывали чехи, румыны и итальянцы. В патронные двуколки у итальянцев были впряжены ослы. Жарков засмеялся.

– Ну, на ишаках да в шляпах в бой заехали – много не навоюют.

Подъехали Кренц и Мотыгин.

– Смотрите-ка, друзья, белые-то как принарядились.

Бинокль перешел к Кренцу.

– Это итальянцы, – сказал он.

– Ага, союзнички, значит, пожаловали, – мрачно улыбнулся Мотыгин.

– Ну что ж, милости просим. Не обессудьте, господа хорошие. Чем богаты, тем и рады. Встретим, как можем.

– Вот что, Кренц, – Жарков повернулся к командиру конного дивизиона, – захай-ка ты им в тыл да пугни как следует, посчитай шляпы у этой ишачьей команды.

У белых опять громынуло. Легкое облачко шрапнели, крутясь со свистом, серым кудрявым барашком повисло над краем села.

Глава 7 «Я НАДЕЮСЬ НА ВАС!»

Офицерский эшелон шел без задержек. Через несколько дней он был в Новониколаевске. Новониколаевский вокзал перенес офицеров в настоящее царство Польское. Конфедератки, белые султаны блестящих гусар, малиновые околыши, белые орлы. Звон шпор смешивался с шипящей польской речью. Польские солдаты и офицеры держались вызывающе, чувствовали себя полновластными хозяевами.

Молодые подпоручики лихо откозыряли седоусому поляку-полковнику. Полковник не ответил на приветствие.

– Скотина, – не выдержал Барановский.

Гусар, звеня шпорами, волоча кривую саблю, прошел мимо русских офицеров, внимательно оглядел их, сильно наступил Барановскому на ногу. Барановский вскипел:

– Гусар! Послушайте, гусар! – закричал он. – Что за безобразие? Чему вас учат? Вы не только не приветствуете русского офицера, но даже не трудитесь извиниться перед ним, когда наступаете ему на ногу.

Гусар остановился, обернулся к говорившему, смерил его презрительным взглядом.

– Цо? Честь? Ха-ха-ха! – круто повернулся, загремел саблей по перрону.

– Ян, Ян, чекай, – остановил он своего товарища. – Руске быдло... Пся крев... Руске быдло...

Офицеры возмущались и смотрели на поляков с нескрываемой злобой. Даже всегда довольный всем Мотовилов ругался:

– Черт знает что такое! Как держит себя эта зазнавшаяся польская шляхта! И посмотрите, как одеты они, ведь на них шикарнейшее офицерское сукно.

Поезд шел... По дороге попадались польские, чешские, румынские, итальянские, сербские, французские, английские, американские эшелоны. Офицеры ворчали:

– Наприглашали всякой рвани в Россию и думают, что хорошо сделали. А эти разные французишки только пьянствуют тут, жрут в три горла да всякое барахло сбывают нам. В тылу их сколько хочешь, а на фронте ни одного не найдешь. Герои тоже, ловкачи крестьян пороть да баб насиловать.

Приехали в Омск. В столице белой Сибири эшелон задержался. Здесь должно было произойти распределение вновь произведенных по армиям и группам. Деньги почти у всех вышли, и офицеры со скучающими лицами бродили по пыльным улицам. Подпоручиков раздражало засилье иностранной военщины в городе. Особенно много было американцев и японцев, главным образом офицеров. Японцы, в мундирах цвета хаки, фуражках с красным околышем и золотой звездой вместо кокарды, держались с видом снисходительных победителей. Американцы по вечерам запруживали улицы и бесцеремонно приставали с любезностями положительно ко всем женщинам, проходящим без мужчин.

Омск был переполнен русскими и иностранными войсками и беженцами. По городу носились военные автомобили под всевозможными национальными флагами. Учебные заведения были наполовину закрыты, помещения их обращены в казармы и квартиры для беженцев. В городе свободных квартир не было, а беженцы все прибывали. Беженцы ехали на лошадях, на пароходах, в поездах. Непрерывным потоком заливали они Омск и, переполнив центр города, растекались по окраинам, по окрестностям. Бежали главным образом люди имущие и все, кого связывали с белыми общие интересы, – семьи офицеров, чиновники и их семьи, духовенство, торговцы, промышленники, спекулянты, помещики и деревенские кулаки. Правительство относилось к беженцам покровительственно, но многого для них сделать, конечно, не могло, не могло даже удовлетворить всех квартирами, и люди располагались в палатках на

городских площадях, бульварах, останавливались около самого Омска и жили под открытым небом.

Правительственная и «независимая» черносотенная печать подняла большой шум по поводу наплыва беженцев в столицу Сибири.

«Как Моисей вывел из Египта народ свой и привел его в Землю обетованную, так и ты, славный адмирал, спасешь людей этих, выведешь народ свой на путь счастья и благоденствия. Исторические дни. Совершается великий поход народа».

Заручившись благословением и одобрением печати, колчаковские администраторы чинили суд и расправу. Рабочий класс был весь целиком взят под подозрение. На рабочих смотрели как на предателей, готовых каждую минуту поднять знамя мятежа. Контрразведка купалась в крови запоротых и расстрелянных. Глухое недовольство поднималось в мощной толпе рабочих масс. Рос и креп революционный дух пролетариата, и его ропот, часто открытый и грозный, тревожил покой диктатора. Офицеры, ездившие из эшелона со станции в город, нередко ловили на себе острые, ненавидящие взгляды засаленных блуз и курток...

За день до отъезда из Омска молодых офицеров принял сам Колчак. Прием состоялся во дворе особняка, занимаемого адмиралом на набережной Иртыша. К выстроившимся офицерам четкой, легкой походкой вышел сутуловатый бритый человек в английском костюме, с русским Георгием на груди и адмиральскими погонами. У него было морщинистое лицо с горбатым носом и угловатым выдающимся подбородком. Офицеры застыли. Руки замерли у козырьков.

– Господа офицеры, поздравляю вас с производством, – с легким старческим пришептыванием обратился Колчак к подпоручикам. – Надеюсь, что вы окажетесь достойными носить славный мундир русского офицера. Вы идете на фронт. Знайте, вы идете драться за воссоздание великой единой России. Я, приняв тяжелое бремя власти, еще раз повторяю вам, что не пойду по пути реакции, но не пойду и по гибельной дороге партийности. Мое дело – воссоздать великую неделимую Россию во главе с правитель...

Адмирал закашлялся, замахал рукой:

– ...с правительством по выбору народа. В этом огромном деле надеюсь на вашу помощь. Наша молодая армия сейчас находится в тяжелом положении, она отступает, не умея делать этого. Отступать, господа, труднее, чем наступать. Я надеюсь, что вы, пробывшие в училищах около года, поможете армии своими знаниями, которые у вас, несомненно, есть. Я надеюсь на вас, господа. Постарайтесь!

Диктатор приложил руку к козырьку, легко шагая, исчез в дверях своего дома. Золотые погоны, белые кокарды, шашки колыхнулись.

– Рады стараться, ваше высокопревосходительство!

Уставшие холодные руки с трудом опустились вниз.

Егерь с зелеными погонами стоял у чугунной ограды на часах. Ворота распахнулись, выпустили офицеров. Караульный унтер-офицер внимательно осмотрел большой замок. Егерь стоял неподвижно. Черная решетка легла от ограды на двор.

Глава 8

БРАТ НА БРАТА

– У-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! – глухо и раскатисто вздыхали тяжелые орудия. Офицеры на подводах ехали в штаб дивизии. Подводчик Мотовилова при каждом выстреле пугливо охал, вздыхал, крестился:

– О, Господи, страсти какие, как гром ровно. Сила какая, Господи, Господи!

Мотовилов, улыбаясь, говорил подводчику:

– Это наши красным морду бьют.

Подводчик близорукими, прищуренными старческими глазами смотрел вдаль.

– Кто же ее знает, каки наши, каки чужие. По мне, все наши, все мы люди, все крещены, все русские. И чего деремса, Бог весть. Выдумали каких-то красных да белых и дерутся.

Мотовилов злобно смотрел на старика:

– Сибирь проклятая, им все равно, им все свои. Не видали они еще красных-то, вот и говорят так. Сволочь!

Офицер с досадой плюнул, закурил папиросу. Дорога была ровная, гладкая, накатанная после недавних дождей. Черной лентой прорезала она тучные луга, пашни и покотины. Урожай был хороший. Хлеб жиром отливал на солнце. Мотовилов смотрел на огромные сибирские поля, вспоминал знакомые деревни, так резко отличавшиеся от российских своими большими светлыми избами, крытыми железом, и недоумевал, почему сибиряки, народ зажиточный, по своему имущественному положению и интересам близко стоящий к помещику, собственнику, так враждебно настроены против белых. Добрые сибирские лошаденки бежали ровной, быстрой рысью. Ходок, полный сена, мягко покачивал. Расслабляющая, ленивая истома овладела седоком. Мотовилов так и не мог сосредоточиться на интересовавшем его вопросе, не находил ответа. На берегу большого круглого озера показалось село.

– Вот и Щучье, – сказал подводчик.

Мотовилов молча сосал папироску. Въехали в село, встреченные дружным лаем десятка собак всех пород и возрастов, проехали две-три улицы и остановились на площади перед большим домом с красным флагом у крыльца. Офицеры недоумевающе переглянулись. Колпаков слегка побледнел.

– Что за черт, да они нас к красным привезли?

В окно высунулась большая черная борода с проседью, лохматая голова и плечо с погонами полковника.

– Нет, господа офицеры, ошибаетесь. Не к красным, а к белым, да еще к каким.

Голова скрылась. Из окна слышался громкий раскатистый хохот. Подпоручики облегченно вздохнули и пошли в штаб представляться. Борода оказалась принадлежащей полковнику Мочалову, начальнику дивизии. Полковник Мочалов, человек весьма веселый, встретил вновь прибывших как старых знакомых.

– Ха-ха-ха! – хохотал он, вставая навстречу смущенным подпоручикам. – Так к красным, говорите, попали? Ха-ха-ха! Ах вы, колченята, колченята молодые! Сидели вы в тылу и ничего не знали. Не слышали вы, видно, что наша Н-ская добровольческая дивизия дерется под красным знаменем, дерется не за что-нибудь, а за Учредительное собрание, за свободу, за революцию. Ха-ха-ха! – раскатывался полковник.

Лица у многих вытянулись от удивления, только один Иванов улыбался. Начальник дивизии смотрел на смущенные недоумевающие лица офицеров и снова раскатывался взрывами смеха.

– Ха-ха-ха! Капитан, – обратился он к своему начальнику штаба, – посмотрите на этих юнцов. А? Какова заквасочка-то? Из молодых, да ранние. Едва красную тряпочку увидели, как

уже и стоп, в тупик стали. Вот они какие, колченята-то! Это не наши веселые прапорочки, керенки.

Мочалов помолчал немного, затянулся несколько раз из короткой английской трубочки, сделался серьезным.

– Ну-с, шутки в сторону, господа. Предупреждаю вас, что наша дивизия несколько отличается от других частей и своим составом и дисциплиной. Наши добровольцы воюют за свободу, за Учредительное собрание, поэтому в строю они держатся свободно. Дисциплину как беспрекословное подчинение единой воле начальника они признают только в бою. Вне боя они с вами как с товарищами, как с братьями будут обращаться. Не обижайтесь на это. Зато уж, будьте покойны, в бою они вас не выдадут, за шиворот к красным не потащат.

– Капитан, – снова обратился Мочалов к начальнику штаба, – всех их в первый Н-ский полк.

Капитан молча наклонил голову.

В тот же день офицеры явились в полк. Солдаты встретили молодых офицеров тепло и радушно. Сразу же окружили их тесным кольцом. Начались расспросы о том, как идут дела в тылу, скоро ли придут на помощь союзники. На свои силы как будто не надеялись. Жаловались, что другие части, особенно из мобилизованных сибиряков, всегда подводят в бою, всегда приходится из-за них отступать.

– Мы деремся, деремся, наступаем, гоним красных, – говорил рыжебородый пожилой солдат, – а, смотришь, сибиряки паршивые побежали у тебя на фланге, ну, приходится и нам отступать.

– Командиров у нас вот тоже мало, – начал молодой унтер-офицер. – Чего же, у нас ротами фельдфебели да унтера командуют. А что унтер может? Все уж не то, что настоящий офицер. Образованность много значит. Мы вот теперь вам рады, как братьям родным.

Бородастые, усатые, добродушные лица улыбались, утвердительно кивали головами. Рыжебородый добавил:

– Что верно, то верно. Офицера нам нужны. Потому – специальность. Скажем, как мастер на заводе али фабрике, так и офицер в бою.

Офицеры чувствовали себя легко среди тесной толпы солдат. Всем им казалось, что они с этими людьми знакомы уже давно. Мотовилов размяк. Долго и ласково смотрел он на рыжебородого, потом положил ему руку на плечо, спросил:

– А ну, скажи, дядя, ты ведь женат, наверно, и детишки есть?

Рыжебородый удивленно немного приподнял брови:

– Как же, и жена, и трое ребят есть. Вместе воюем. Жена во втором разряде ездит.

– Да ну? – удивился офицер.

– Вы что, господин поручик, удивляетесь? – вмешался унтер-офицер. – У нас все почти что так на войну выехали, со всем семейством. Как в бою, так врозь, а как в резерв отойдем, так и вместе. Тут у нас и блины и оладьи пойдут. И бельишко помоют бабы и починят. У нас в дивизии насчет этого хорошо. У нас как одна семья все живут. Жалко только – мало уж нас, старых н-цев-то осталось.

Молодой, безусый пермяк Фома, вестовой подпоручика Барановского, ждал своего командира у костра. Барановский пришел веселый, оживленный.

– Ну, как живем, Фомушка? – громко крикнул он и сел к костру.

Фома встал, взял под козырек.

– Да садись, садись, чего там! – сказал офицер.

– Ничего, господин поручик, – улыбаясь, сел Фома. – Вот картошки вам сварил. Не хотите ли покушать?

Вестовой поставил перед Барановским котелок дымящегося, душистого картофеля.

– Молодец, Фомушка. Ну, давай, брат, вместе. Бери ложку!

Фома из вежливости было отказался, но потом стал помогать своему командиру. Котелок быстро опустел.

– Эх, чайку бы теперь, – вслух подумал Барановский.

Фома засмеялся:

– Чай готов, господин поручик!

– Ну, да ты, брат, настоящее сокровище, а не вестовой.

– Вот я и ягодки к чайку набрал, – добавил Фома, подавая офицеру большую кружку костяники.

После картофеля жажда была сильная, и чай, подкисленный ягодой, казался особенно вкусным. Барановский медленно тянул из кружки горячую влагу и пристально смотрел в потухающий костер.

Фома заговорил быстро, сердито поглядывая на Барановского.

– А брат-то у меня комиссар. Комиссаром в Петрограде служит. Как узнал он, что я с белыми ушел, так домой письмо прислал, что Фома, дескать, не брат мне больше, а враг нутренней.

Барановский вспомнил, что у него на Волге остался семнадцатилетний брат и мать, что брата теперь, наверное, мобилизовали и что, возможно, он встретится с ним в бою.

– Фомушка, а ты не боишься с братом в бою встретиться?

Фома добродушно улыбнулся.

– Чего бояться, господин поручик? Какой он мне брат? Враг он, враг и есть, и не заметишь, как убьешь.

Барановский вздрогнул. В памяти всплыл образ высокого мальчишки, ласкового брата Коли. Враги?.. Нет, никогда Коля ему не будет врагом. Это невысказано.

– Фомушка, а у меня тоже есть брат у красных.

– Ну вот, оба мы одинаковые. Значит, брат на брата, – равнодушно как-то сказал Фома и зевнул. – Спать надо, господин поручик, – добавил он совсем уже сонным голосом.

Барановский покорно лег на приготовленную постель из сена. Фома поместился рядом. Лес тихо шумел верхушками. Солдаты давно уже спали. На дальнем конце поляны, у груды тухнувших углей стоял дневальный. Серая шинель его, темная сзади и на плечах, спереди была облита багровым жаром. Тонкой, кровавой паутиной поблескивали штыки винтовок, составленных в козлы. Ночь была темная и холодная. Облака черными, мохнатыми клубами плыли по небу. В голове офицера роились и медленно, как тяжелые тучи, тянулись мысли. Он никак не мог помириться с тем, что брат Коля – враг ему, что, может быть, завтра он, с перекошенным от злобы лицом, будет пускать в него пулю за пулей. Сырой холод сибирской ночи забирался под шинель, ледяными влажными лапами хватался за грудь. Барановскому не спалось.

– Фома, – толкнул он вестового, – а может быть, мы завтра в бою с братьями встретимся?

Фома уже спал и долго не мог понять вопроса, мычал в ответ и сонно переспрашивал:

– А? Что? Как? – пока наконец понял и ответил спокойно: – Все может быть.

Багрово-красная полоса света показалась на востоке, когда Барановский стал тяжело забываться. Засыпая, он видел в кровавом тумане рассвета искаженное злобой лицо брата Коли, и мысль, неясная и смутная, бродила в мозгу:

«Враги. Братья – враги! Брат на брата!»

Глава 9 ДОЛОЙ ВОЙНУ!

Утром полк занял позиции. Подпоручик Барановский со своей ротой был поставлен для охранения правого фланга полка в небольшом лесочке. Часов в десять утра, когда солнце было уже высоко, красные повели наступление по всему участку Н-ской дивизии. Наступали медленно, нерешительно, осторожно нащупывали противника, старались обнаружить его слабые места. С их стороны работала легкая батарея, посылавшая редкие очереди шрапнели. Наступающие цепи были далеко, стреляли редко, перебегая целыми отделениями и взводами. Во время их перебежек белые усиливали огонь, и пулеметы выпускали небольшие очереди. Барановский сидел в лесу, около небольшого пня, и чутко прислушивался к начинавшейся музыке боя. Легкий ветерок тянул вдоль фронта, и свист пуль от этого был особенно мелодичен. Иногда они летали поодиночке, иногда быстро проносились целыми стайками. Барановский слушал и улыбался, потом вдруг сам заметил свою улыбку и подумал:

«Вот она, смерть-то, какой красивой, певучей иногда бывает. Так, пожалуй, и умрешь смеясь. Залетит этакая певунья в висок – и крышка. Останется от жизни человека только несколько строк в очередном номере газеты, что, мол, вот подпоручик такой-то пал в бою тогда-то, под деревней такой-то, и все».

Цепи наступающих медленно, но упорно приближались. Перестрелка усиливалась. Часто и нервно стали строчить пулеметы. Заработала белая артиллерия. Снаряды с визгом и воем летели через головы пехоты, глухо лопались над цепями противника. Красная батарея нащупала белую. Белая начала отвечать. Завязалась артиллерийская дуэль. Пехота смеялась. Солдаты, улыбаясь, говорили:

– Слава те, Господи, артиллерия с артиллерией сцепилась. Пускай друг другу ребра ломают, только бы нас не шевелили.

Мотовилов ходил сзади цепи своей роты и считал разрывы снарядов.

– Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! – стреляла белая. Мотовилов загибал четыре пальца и прислушивался.

Через некоторый промежуток времени слышался характерный звук разрывов:

– Пуф! Пуф! Пуф! Пуф!

Офицер разгибал все четыре пальца и, смеясь, кричал:

– Слышали, ребята, как наши-то наворачивают? Все четыре лопнули. Хороши английские подарочки. Это тебе не социалистические, по восемь часов деланные.

Мотовилов был почему-то убежден, что в Советской России все работают только восемь часов в день; он думал даже, что и красные части дежурят в первой линии не более восьми часов в сутки.

– Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! Ба-бах! – отвечала красная.

Мотовилов насторожился.

– Ага, тоже четыре. А ну-ка, сколько лопнет?

– Пуф-виуж! Пуф-виуж! П! П! – падали снаряды красных.

– Эге, скудно, товарищи, – орал офицер, – только два. Скудно! Скудно!

– Бах! Бах! Бах! Бах! – неожиданно слева часто заговорила вторая белая и тут же правее, позади нее, ухнуло первое орудие тяжелой мортирной.

– Бу-у-у-у-х! Буль-буль-буль! – басисто булькая и визжа, пролетел шестидюймовый, глухо рывкнул, лопнул на том берегу реки, поднял облака черного дыма и пыли. Красная батарея замолчала. Н-цы кричали:

– Красным жара! Не по вкусу гостинцы-то пришлись?

Красная батарея, нащупанная противником, занимала новую позицию. Медленно, одиночными перебежками, ползли вперед красные цепи. Н-цы открыли частый огонь. Пулеметы трещали без умолку. Барановский сидел у пня, смотрел в спину дремавшего перед ним стрелка. Ему казалось, что стоит он на большом городском дворе, а кругом, на домах, сидят кровельщики и со всей силой бьют молотками по раскаленному полуденным солнцем железу крыш.

– Трах! Грах! Грох! Грох! – гремели кровельщики. Воздух делался нестерпимо горячим, душным. Тело нервно вздрагивало. Руки покрывались липкой испариной. Во рту сохло. Сердце пугливо, нервными скачками колотилось в груди. Барановский сделал несколько глотков из фляжки. Вода была теплая, пахла болотом. Офицер поморщился. Стрелки спокойно лежали в цепи. Одни курили, повернувшись вверх животом, другие сладко дремали, положив головы на винтовки, некоторые совсем спали, некоторые вели между собой тихие беседы. Рыжебородый, пуская колечки махорки, говорил молодому отделенному:

– Вот что хошь делай, Ваня – хошь трусом меня называй, хошь как, – а я не могу перед боем успокоиться. Ведь не впервой уж, кажись бы, ан нет. Сердце замирает, екает. Жена чего-то мерещится, детишки. Все думаю – убьет. Ох, боюсь, Ваня. Пожить еще охота.

Отделенный позевывал:

– Ничаво, Петрович, это только до первого выстрела, а там все забудешь.

– Что верно, то верно, парень. Как зашумит, зачертит это вокруг тебя, так все забудешь. В бою я ни о чем не думаю. Правда, правда! Вот только намеднись, под Зюзином, как бежали мы в атаку, так мальчонка ихний попался на поле, доброволец, шибко раненный. Лежит он этак и жалостливо стонет. А на глазах слезы. Ох, маленько у меня сердце захолонуло. Сын ведь он мне, думаю. Ах, совсем ведь мальчонка был. Помер, наверно.

Рыжебородый вздохнул. Рота бездействовала, была укрыта от взоров противника. Смутное предчувствие близкого боя томило молодого офицера. Безотчетная тоска сжимала грудь, колола сердце. Леденящий холодок пробежал по спине. День был облачный, серенький, прохладный, а подпоручику казалось, что погода невыносимо жаркая и день душный, как перед грозой. Неожиданно появился Фома с котелком горячего супа.

– Господин поручик, обедать пора. До нас еще не скоро дело дойдет, подзаправиться не мешает.

Фома стоял перед офицером с котелком и куском хлеба в руках, смотрел на него живыми узенькими глазами. Напряженность одиночества разорвалась. Спокойствие вестового моментально передалось офицеру. Плотная, крепкая фигура вестового как бы говорила офицеру, что бояться, в сущности, нечего, что жить нужно всегда и везде не унывая, что всякие страхи и печаль только причиняют лишние страдания. Барановскому стало немного стыдно, что он малодушничал, пока сидел один.

– А ну, давай, Фомушка, похлебаем супчику. Спасибо тебе, родной, за заботу твою.

Вернулось спокойствие, появился аппетит. Суп казался очень вкусным. Подъехал ординарец с приказанием от командира батальона. Офицер быстро прочел небольшой клочок бумаги, молча кивнул головой. Солдаты в цепи смотрели на командира. Цепь угадывала, что приказание получено боевое. Толстый белобрысый взводный первого взвода, доброволец Благодатнов, судорожно позевывал, тряс головой.

– Ах ты Господи, когда это кончится? В германскую три года отбрыкал, и тут опять другой год. А ведь есть, которы сидят в тылу и пороху не нюхали. А-а-а-бр! – взводный еще раз позевнул.

– Бр-р! А-а-а! Скучна!

– Сейчас наступать, видна, пойдем? – спросил Благодатнова молодой сибиряк, несколько дней только служивший в Н-ском полку.

– Нда, а-а-а, по-видимости, што так. Фу ты, провалиться бы тебе, весь рот зевота разодрала!

Взводный утер рукавом заслезившиеся глаза.

– Значит, дома побываю. Наше село-то вон видать. Всего десять верст.

Рота змейкой поползла на опушку. Позиция Барановским была выбрана удачно – наступающие попали под жестокий фланговый огонь его роты. Красные заколебались, цепи их немного смешались, малодушные побежали назад. Электрический ток пронесся по цепи белых, и вся она, без команды, движимая стихийным порывом, вскочила, заревела:

– Ур-ра-а-а!

Красные молча поднялись и побежали. Сейчас же перед бегущими появились на лошадях командиры, комиссары, блеснули револьверы. Цепь остановилась, повернулась к атакующим. Белые не добежали до красных шагов тридцати. Остановились. Дышали тяжело. Колючий забор штыков застыл. Бледные щеки, небритые подбородки. Холодный пот капал на гимнастерки. Глаза, удивленные и тревожные, хватали противника, прыгали, метались, ждали удара. Через минуту должно было случиться огромное, важное. Нужно было только сдвинуться с мертвой точки. Отодрать от земли прилипшие, свинцовые ноги. Кинуться вперед. В горле колючим комком вязли хрипящие вздохи. Барановскому казалось, что он слышит глухой стук сердец и шум крови, быстрыми струйками бегущей под кожей.

– Товарищи, вперед! Ура! – рыжая лошадь комиссара бросилась, уколота шпорами.

Острый колючий забор рассыпался. Белые дрогнули, побежали. Барановский бежал со своей ротой и удивился своему спокойствию. Бежал он ровно, не торопясь, как на ученье, с поразительной ясностью видел напряженные лица солдат и офицеров. А когда мимо него, сопя, задыхаясь и путаясь в длинной шашке, пробежал сломя голову толстый капитан, командир батальона, то ему даже стало смешно. Сзади хлестало дружное «ура» красных и крики:

– Кавалерию вперед! Белые банды бегут! Кавалерию вперед!

Тысячи ног тяжело топали по полю. Красные остановились. И сейчас же воздух наполнился резким свистом и жужжанием пуль. Некоторые из бегущих стали торопливо, ничком, падать на землю. Валяясь, стонали, кричали:

– Братцы, ранило! Не оставьте! Санитар! Санитар!

Раненых подбирать было некогда. Командиры вскочили на лошадей:

– Сто-о-о-ой! Сто-о-о-ой! Сто-о-о-ой!

Сочно, со свистом посыпались шлепки нагаек. По лицам, по плечам. Бегущие остановились, залегли. Вспыхнула перестрелка. Раненые, брошенные дорогой, попали под перекрестный огонь. На них никто не обращал внимания. Они лежали среди поля, отчаянно, но тщетно моля о помощи, глухо стоная от боли. Некоторые из них пытались выползти из сферы огня, но пули быстро находили их, и они затихали, спокойно вытягивались на мягкой отаве. Другие старались прятать хоть голову за бугорок, беспокойно шарили вокруг себя, ища прикрытия, и вдруг перевертывались на спину, широко раскидывали руки, делались неподвижными. С обеих сторон заработала артиллерия. Поток расплавленного огненного металла залил поле. Тяжело дыша, задыхаясь от напряжения и усталости, стрелки зарывались в землю. Лица запылились, стали совсем черными, пот испещрил их грязными длинными полосами. Поле сражения стало похоже на огромный, грохочущий, огнеликий завод с тысячами черных рабочих. С визгом и воем налетали на цепь снаряды и то рвались в воздухе, осыпая людей сотнями пуль, то зарывались в землю и лопались там, разлетаясь на мелкие осколки, сметали все на своем пути, рвали в клочья живое человеческое мясо, дробили кости. Барановский лежал сзади своей роты, крепко стиснув зубы, широко раскрыв глаза. Все его тело дрожало мелкой нервной дрожью, протестуя, крича всеми мускулами о том, что оно хочет еще жить, что ему противно это поле, где смерть гуляет так свободно.

– Виужжж! П! П! П! Виууу! – лопалась шрапнель.

– Сиу! Сиу! Сиу! Сиу! – сплошной массой летели пулеметные пули.

– Дziu! Дziu! Диу! Диу! – прорезали их свист отдельные винтовочные.

Люди с напряженными, серьезными лицами рылись в земле, стреляли, бегали, подтаскивали патроны, переползали из одного окопчика в другой. Барановскому представлялось, что все они делают какую-то огромную и важную работу, трудятся в поте лица, до изнеможения. Офицер думал, что так и должно быть, что нужно именно так работать, чтобы спасти себя от неумолимого бездушного чудовища.

Мысли стали путаться в его голове, под крышкой черепа десяток кузнецов стучали молотками, кроваво-серый туман застилал глаза. Минутами он не видел ни зеленого луга, на котором шел бой, ни своей роты. При каждом выстреле, разрыве снаряда его тело трепетало. Добровольцы дрались со злым упорством. Горячий натиск красных вызвал ответный сплоченный отпор.

– Ни черта, они не собьют нас, – ворчал Благодатнов.

– Не на сибиряков напоролись. Ошибутся товарищи.

Молодому рябому Кулагину прострелило плечо. Передавая патроны и винтовку соседу по окопчику, раненый говорил:

– Ну смотри, Пивоваров, чтобы я из лазарета прямо домой попал. Не подгадь, дружок, набей за меня морду товарищам.

Пивоваров, спеша, собирал патроны.

– Счастливый ты, в лазарет пойдешь, отдохнешь. Эх, скорее бы кончить канитель эту.

– Конечно, кончить надо. Поднажмите – и готово дело. Наступать надо.

Бой длился весь день. Огонь стал затихать, сделался редким, вялым только к вечеру. Красные, поняв, что попали на стойкую, сильную часть, перенесли свое внимание на соседнюю Сибирскую дивизию, состоящую сплошь из мобилизованной молодежи. Необстрелянные солдаты стреляли плохо, нерешительно, редко, почти не причиняя вреда наступающим. Высокий комиссар в черной кожаной куртке поднялся в цепи, стал кричать сибирякам:

– Товарищи, перестаньте стрелять, что мы друг друга бить будем? Разве мы не братья родные? Разве нам интересна эта бойня? За кого вы деретесь, товарищи?

Сибиряки прекратили огонь, подняли головы, стали прислушиваться.

– Часто начинай! Часто начинай! – истерично кричал какой-то ротный командир.

Рота молчала. Офицер выхватил револьвер, начал в упор расстреливать своих. Солдат на левом фланге повернулся в сторону командира, прицелился и убил его наповал.

– Товарищи, идите к нам! Довольно крови! Тащите своих золотопогонников сюда, мы им найдем место.

Комиссар шел свободно к белым, за ним медленно подтягивалась красная цепь. Молоденький черноусый прапорщик приложил к плечу длинный маузер и выстрелил. Вся цепь обернулась на короткий хлопок. Пуля разорвала рукав тужурки комиссара. Сибиряки вскочили, подхватили под руки офицеров, пошли навстречу красным. Молоденький прапорщик валялся вверх лицом, дрыгал ногами, гимнастерка на проколотой груди у него намокла, покраснела.

Началось братание. Безудержная радость закружила головы. Войны не было. Врагов не было. Не было смерти. Жизнь взяла верх. Сотни людей вспыхнули одним желанием. Огромная зеленая толпа смеялась, возбужденная, радостная, хлынула в сторону н-цев.

– Товарищи, к нам! Довольно крови! Долой войну!

Острая, дрожащая злоба угрюмым молчанием накрыла окопы н-цев. Пулеметчики застыли у пулеметов. Сухой, резкий крик команды внезапно прорезал молчание:

– Первый пулемет, огонь!

И весь полк, не дожидаясь своих командиров, по этой команде открыл яростную стрельбу пачками. Сразу затрещали все пулеметы, и свинец ручьями полился на людей, шедших к таким же людям с братским приветом мира. Испуганно шарахнулась назад толпа, люди в животном страхе бежали, давя друг друга, накальваясь на свои же штыки, падая, путаясь в кучах раненых и убитых. Огненным потоком лился свинец, и покорно и беспомощно ложились десятки тел,

и люди в страшных муках судорожно корчились и кричали дикими голосами. Барановский, ошеломленный расстрелом толпы солдат, шедшей с мирными предложениями, совершенно растерялся и стоял сзади своей роты, не зная, что делать. В глубине его души кто-то настойчиво твердил, что это подлость, зверство, что так делать было нечестно, и вместе с тем кто-то другой ехидно спрашивал:

– Ну хорошо, их не расстреляли бы. Тогда что с вами они, господа офицерики, сделали бы? А?

Офицер не находил ответа и нервно тер себе рукой лоб. Бой затих совершенно. Братавшиеся были почти все перебиты. Несколько человек попало в плен, и только небольшая кучка успела отойти в сторону своих вторых линий. Среди захваченных в плен оказался командир красной роты, отрекомендовавшийся Мотовиллову бывшим царским офицером. Мотовиллов с усмешкой спрашивал пленного:

– Ну и что же этим вы хотите сказать? Вы думаете, что это оправдывает вас, говорит в вашу пользу?

– Я полагаю, вы понимаете, что я не мог не служить в Красной Армии, так как был мобилизован как военный специалист, – защищался красный командир.

Мотовиллов закурил папироску и, не торопясь отстегнув крышку кобуры, вынул наган.

– Если вы офицер, тем хуже для вас, вы совершили величайшую подлость, пойдя против своих же братьев офицеров, вы своими знаниями способствовали созданию Красной Армии. Этого мы вам никогда не простим, и такую сволочь будем уничтожать беспощадно.

Брови у пленного дернулись. Рот раскрылся. Беспомощно махнули руки.

Мотовиллов опустил дымящийся револьвер. Остальные пленные, раздетые донага, с дрожью жались друг к другу. Только два китайца бесстрастно смотрели куда-то выше головы офицера.

– Ты кто? – теплый ствол нагана ткнулся в желтую грудь.

– Наша, советский, ходя.

– Сколько получаешь?

– Путунде. Не понимай, – китаец тряс черной щетиной жестких волос.

– Сколько офицеров расстрелял, сволочь?

– Путунде. Советский ходя, путунде!

Мотовиллов широко размахнулся, ударил китайца по лицу. Быстро обернулся к другому, ткнул в зубы. Глаза китайцев снова стали бесстрастными, лица окаменели. У одного из носа капала кровь.

– Ну что, достукались, сибирячки?

Мотовиллов злорадно разглядывал неудачных перебежчиков:

– Сейчас я вас расстреляю.

Пленные покачнулись.

– Я не сибиряк, господин офицер. Я давно в Красной Армии. Меня не надо расстреливать. Я хочу в плен.

Голый человек с рыжими усами сделал шаг вперед.

– Я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет. Расстреляю, и все.

– Не имеете права, я пленный!

– Взводный второго взвода!

– Я!

Пожилой унтер-офицер подошел к подпоручику.

– Покажи вот этой сволочи, какие она имеет права.

– Всех, господин поручик, сразу? – угадывая намерения командира, спросил взводный.

– Ясно, как апельсин, – всех!

Глава 10

СЫН НА ОТЦА

Высокий комиссар в кожаной куртке, уцелевший от пуль н-цев, сидел за столом в большой избе и допрашивал пленного офицера:

- Ваша фамилия и чин?
- Подпоручик Бритоусов.
- Вы какой дивизии?
- 4-й Уфимской стрелковой, генерала Корнилова.
- Полка?
- 15-го стрелкового Михайловского.
- Товарищ Климов, дайте мне именные списки 4-й дивизии.

Секретарь подал толстую тетрадь. Комиссар стал быстро перелистывать.

– 13-й Уфимский... 14-й Уфимский... 15-й Михайловский, так, есть. Командир полка полковник Егоров... Второй батальон – поручик Ситников... Третий батальон – капитан Каргашин... Вы какого батальона-то?

Офицер стоял бледный. Ноги у него тряслись мелкой дрожью, спина и плечи под английским френчем с вырванными погонами согнулись. Он был поражен осведомленностью красных.

– Я второй роты, первого...

– Ага, вот есть. Бритоусов, говорите?

– Да.

– Совершенно верно. Бритоусов Евгений Николаевич, командир второй роты, подпоручик. Правильно.

Офицер качнулся всем телом, оперся рукой о стол, блестящим остановившимся взглядом уставился на комиссара.

– Послушайте, – губы у него пересохли, – послушайте, к чему вся эта комедия, весь этот допрос? Я давно уже приготовился – расстреляйте. Только об одном прошу, если в вас есть капля сострадания к человеку, которого судьба случайно сделала вашим врагом, не мучьте ради Бога. Убейте скорее.

Комиссар засмеялся. Бритоусов из белого стал черным.

– Ну что же, смейтесь, я в ваших руках. Мучьте, истязайте, большего от вас ждать, конечно, не приходится. Наслаждайтесь муками вашей жертвы.

Комиссар перестал улыбаться.

– Подождите, что вы разнервничались, чего вы выдумываете? Я вовсе не намерен вас расстреливать.

– Наконец, это подло. Одной рукой подписывать смертный приговор человеку, а другой делать любезные жесты. Это недостойно человека.

Пленному не хватало воздуха. Молов встал, большие черные усы с опущенными концами делали его сердитым и суровым.

– Ну, прошу немного повежливее. Сначала узнайте все как следует, а потом уж брюзжите, хнычьте. Не меряйте, господин белогвардеец, всех на свой аршин. Не думайте, пожалуйста, что если вы расстреливаете всех коммунистов, то и мы делаем то же с офицерами. Вот вы имеете возможность на собственной шкуре убедиться, что это не так. Вы будете отправлены в тыл. Не скрою, вас пропустят через фильтр, через чистилище – Особый отдел, и, если не будет установлено, что ваши лапки запачканы кровью, что вы принимали участие в карательных экспедициях, расстрелах, то вы получите все права гражданина Советской республики, даже

больше, вы будете приняты на службу в Красную Армию, где, если захотите, сможете отдать долг рабочим и крестьянам, искупить свою вину перед трудящимися.

Офицер не верил ни одному слову комиссара. Он овладел собой, стоял с гордым, надменным лицом.

– Вы кончили?

– Кончил, – ответил Молов и сел на стул.

– Кончайте же как следует, прикажите вашим китайцам поставить меня поскорее к стенке.

Молов засмеялся:

– Ну, вы, видимо, господин хороший, не в своем уме маленько. Вижу, вас не убедишь. Сейчас я вас отправлю в штаб дивизии. Климов, скажи, чтобы нарядили двух конвоиров.

Секретарь вышел.

– Теперь последний вопрос. Скажите, что бы вы сделали со мной, если бы я вот, комиссар полка, токарь петроградский, Василий Молов, коммунист, попал к вам?

Бритоусов злобно щурил глаза.

– Сделали бы то же, что вы делаете со всеми офицерами, конечно, только звезды бы не стали вам вырезать на руках, как вы нам погоны. Гвоздей бы тоже не стали вгонять в плечи.

Молов весело возразил:

– Это хорошо, если бы со мной сделали то же, что я с вами.

Конвой вошел, и офицера увели. Молов взглянул на часы и стал стелить себе постель. Спать хотелось сильно. За селом черным стальным канатом протянулась по зеленому лугу красная цепь. В полуверсте от нее, на самом берегу Тобола, лежали полевые караулы. Густой туман стоял над рекой, сырой колеблющейся стеной разделял врагов. У красных и у белых было темно и тихо в первой линии. Лишь далеко в тылу у тех и у других пылали яркие костры. Части, стоящие в резерве, грелись у огня, кипятили чай. Семеро красноармейцев, полевой караул Минского полка, шепотом разговаривали, сидя в небольшой лощинке. Спирька Хлебников, шестнадцатилетний доброволец, повернувшись спиной к противнику и накрыв голову шинелью, сосал сигарку.

– Ты, черт озорной, докуришься, влепят тебе пулю в харю.

Лицо Спирьки, худое, грязное, с маленькими синими глазами, ставшими черными в потемках, покрывалось медно-красным налетом. Сигарка шипела подмоченным табаком.

– Ничаво. Ен не увидит. Я под шинелькой.

– Смотри, дьявол, из-за тебя всем попадет.

– Ничаво. Колчака теперь спит, ему за день-то ого-го как насыпали, сколь верст рысью прогнали.

– Похоже, не устоять Колчаку?

Дым махорки дразнил весь караул. Спирька самоуверенно мотнул головой. С конца сигарки посыпались искры.

– Знамо дело – не устоять. Кишка тонка у буржуя, вот што.

– Деникин вот только здорово прет.

– Ни черта, и Деникина спихнем в Черное море чай пить.

Серая, мочальная борода устало ткнулась в колени.

– Домой бы, товарищи, скорей.

Сигарка пыхнула в бороду запахом горелой бумаги и табаку, потухла.

– Домой. Ступай, садись на крылец, встречай гостей. Придут к тебе старые господа, по головке поглядят.

Спирька отхаркнулся, сплюнул.

– Ты што, мы всем миром. Без земли пропадешь.

– Всем миром. Ну и не рыпайся, коли без земли, говоришь, пропадем. Колчак али Деникин тоже за землю и свободу воюют, только для себя, а не для нас. Ну а нам теперь доводится самим за себя стоять, вот что.

Черные, засаленные брюки в высоких сапогах и лоснящаяся от грязи кепка завозились около Спирьки.

– Мы Колчака видали. Перво-наперво, как пожаловал он к нам, так семьсот человек прямо на месте, в мастерских, к стенке поставил. Пускай кто хочет, с ним живет, милуется, а мы не согласны.

Штыки зацепились, стукнули.

– Эх, товарищи, легче с винтовками-то.

– Для чего же было революцию подымать?

– Раз уж взялись поставить свою власть, так и крышка, воюй, пока из последнего буржуя душу вынешь.

Борода тяжело вздохнула, потянулась:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.